

TEMPUS  
ET  
MEMORIA

# TEMPUS ET MEMORIA

Журнал основан в 2006 г.  
Выходит 4 раза в год

Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина», 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19

Издатель: Издательство Уральского университета, 620000, Екатеринбург, ул. Тургенева, 4

Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-79281 от 02 октября 2020 г.

Журнал индексируется в БД: Российский индекс научного цитирования (РИНЦ)

В журнале печатаются статьи по философии, социологии и политологии. Материалы представлены в рубриках по проблемам, разработка которых требует совместных усилий философов, социологов и политологов. Редакционная политика «Tempus et Memoria» строится на принципах научного плюрализма: позиция авторов журнала не обязательно отражает точку зрения редколлегии. Редакция журнала стремится соответствовать строгим критериям научности, все материалы проходят двойное слепое рецензирование. К рецензированию и печати принимаются материалы на русском и английском языках. Особое внимание уделяется участию молодых перспективных исследователей — аспирантов или соискателей. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе.

E-mail: [tempusetmemoria@urfu.ru](mailto:tempusetmemoria@urfu.ru)

Сайт: [tempusetmemoria.ru](http://tempusetmemoria.ru)

Адрес редакции: 620000, Екатеринбург, пр. Ленина, 51, к. 319, «Tempus et Memoria»

© Уральский федеральный университет, 2021

# TEMPUS ET MEMORIA

The Journal was founded in 2006  
Published 4 times a year

Founded by Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin  
19, Mira Str., 620002 Yekaterinburg, Russia

Publisher: Ural University Press  
4, Turgenev Str., 620000 Yekaterinburg, Russia

The Journal is registered by the Federal Service for Supervision of Communications,  
Information Technology, and Mass Media. Mass media registration certificate EL FS77- 79281  
as of October 02, 2020

The Journal is indexed in: Science Index (eLibrary)

The journal publishes articles on philosophy, sociology and political science. The materials are presented under the headings on problems, the development of which requires the joint efforts of philosophers, sociologists and political scientists. The editorial policy of “Tempus et Memoria” is based on the principles of scientific pluralism: the position of the authors of the journal does not necessarily reflect the point of view of the editorial board. The editors of the journal strive to meet strict criteria for scientificity, all materials undergo double-blind peer review. Materials in Russian and English are accepted for review and printing. Particular attention is paid to the participation of young promising researchers — graduate students or applicants. Publications in the journal are carried out on a non-commercial basis.

Email: [tempusetmemoria@urfu.ru](mailto:tempusetmemoria@urfu.ru)  
website: [tempusetmemoria.ru](http://tempusetmemoria.ru)

Editorial Office Address: 51, Lenin Ave., c. 319, 620000 Yekaterinburg, Russia  
Tempus et Memoria

© Ural Federal University, 2021

### Главный редактор

**Д. А. Аникин**, к. ф. н. (Россия, Москва, Московский государственный университет)

### Ответственный секретарь

**Е. С. Ковалева** (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

### Редакторы разделов

**А. А. Линченко**, к. ф. н. (Россия, Липецк, Липецкий филиал Финансового университета при Правительстве РФ) — редактор раздела по философии

**А. В. Михалев**, д. п. н. (Россия, Улан-Удэ, Бурятский государственный университет) — редактор раздела по политологии

**Е. Ю. Рождественская**, д. с. н. (Россия, Москва, Высшая школа экономики) — редактор раздела по социологии

## РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

**Е. В. Беляева**, к. ф. н. (Беларусь, Минск, Белорусский государственный университет)

**А. Г. Васильев**, к. и. н. (Россия, Москва, Высшая школа экономики)

**Н. В. Веселкова**, к. с. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

**И. О. Дементьев**, к. и. н. (Россия, Калининград, Балтийский федеральный университет)

**Д. В. Ефременко**, д. п. н. (Россия, Москва, Институт научной информации по общественным наукам РАН)

**Г. В. Касьянов**, д. и. н. (Украина, Киев, Национальная академия наук Украины)

**М. Г. Мацкевич**, к. с. н. (Россия, Санкт-Петербург, Социологический институт Российской академии наук)

**Е. Махотина**, PhD (Германия, Бонн, Рейнский университет Фридриха Вильгельма в Бонне)

**А. С. Меньшиков**, к. ф. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

**А. И. Миллер**, д. и. н. (Россия, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге)

**М. М. Мчедлова**, д. п. н. (Россия, Москва, Российский университет дружбы народов)

**Ф. В. Николаи**, д. ф. н. (Россия, Нижний Новгород, Мининский университет)

**И. О. Пешков**, PhD (Польша, Познань, Университет им. Адама Мицкевича)

**В. В. Семенова**, д. с. н. (Россия, Москва, Институт социологии Российской академии наук)

**М. Е. Соболева**, д. ф. н. (Австрия, Клагенфурт, Альпийско-Адриатический университет Клагенфурта)

**Е. О. Труфанова**, д. ф. н. (Россия, Москва, Институт философии Российской академии наук)

**Е. С. Черепанова**, д. ф. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

**А. И. Миллер**, д. и. н. (Россия, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге) (**председатель**)

**Ш. Бергер**, PhD (Германия, Бохум, Рурский университет в Бохуме)

**В. А. Кокшаров**, к. и. н. (Россия, Екатеринбург, Уральский федеральный университет)

**М. Ларюэль**, PhD (США, Вашингтон, Университет Джорджа Вашингтона)

**Н. А. Ломагин**, д. и. н. (Россия, Санкт-Петербург, Европейский университет в Санкт-Петербурге)

**О. Ю. Малинова**, д. ф. н. (Россия, Москва, Высшая школа экономики)

**Т. Л. Никодемо**, PhD (Бразилия, Сан-Паулу, Университет Кампинас)

**Л. Ноймайер**, PhD (Франция, Париж, Университет Париж 1 Пантеон-Сорбонна)

**Л. П. Репина**, д. и. н. (Россия, Москва, Институт всеобщей истории Российской академии наук)

**Р. Саква**, PhD (Великобритания, Кентербери, Кентский университет)

**Д. Сталюнас**, PhD (Литва, Вильнюс, Институт истории Литвы)

**В. Н. Сыров**, д. ф. н. (Россия, Томск, Томский государственный университет)

**Б. Тренчени**, PhD (Венгрия, Будапешт, Центральный Европейский университет)

**М. Б. Хомяков**, д. ф. н. (Кыргызстан, Бишкек, Университет Центральной Азии)

Дизайн обложки — Ольга Язовская

### Editor-in-Chief

**D. Anikin**, PhD (Russia, Moscow, Moscow State University)

### Managing Editor

**E. Kovaleva** (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

### Partition editor

**A. Linchenko**, PhD (Russia, Lipetsk, Financial University under the Government of the Russian Federation), Philosophy Section Editor

**A. Mikhalev**, PhD (Russia, Ulan-Ude, Buryat State University), Political Science Section Editor

**E. Rozhdestvenskaya**, PhD (Russia, Moscow, National Research University Higher School of Economics), Sociology Section Editor

## EDITORIAL BOARD

**E. Belyaeva**, PhD (Belarus, Minsk, Belarusian State University)

**E. Cherepanova**, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

**I. Dementev**, PhD (Russia, Kaliningrad, Immanuel Kant Baltic Federal University)

**D. Efremenko**, PhD (Russia, Moscow, Institute of Scientific Information on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences)

**G. Kasianov**, PhD (Ukraine, Kiev, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine)

**E. Makhotina**, PhD (Germany, Bonn, University of Bonn)

**M. Matskevich**, PhD (Russia, St. Petersburg, Sociological Institute of the RAS — Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences)

**M. Mchedlova**, PhD (Russia, Moscow, RUDN University)

**A. Menshikov**, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

**A. Miller**, PhD (Russia, St. Petersburg, European University at St. Petersburg)

**F. Nikolai**, PhD (Russia, Nizhny Novgorod, Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University)

**I. Peshkov**, PhD (Poland, Poznan, Adam Mickiewicz University in Poznan)

**V. Semenova**, PhD (Russia, Moscow, Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences)

**M. Soboleva**, PhD (Austria, Klagenfurt, University of Klagenfurt)

**E. Trufanova**, PhD (Russia, Moscow, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences)

**A. Vasilyev**, PhD (Russia, Moscow, National Research University Higher School of Economics)

**N. Veselkova**, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

## EDITORIAL COUNCIL

**A. Miller**, PhD (Russia, St. Petersburg, European University at St. Petersburg) (**Chairman**)

**S. Berger**, PhD (Germany, Bochum, Ruhr University Bochum)

**M. Homiyakov**, PhD (Kyrgyzstan, Naryn, University of Central Asia)

**V. Koksharov**, PhD (Russia, Yekaterinburg, Ural Federal University)

**M. Laruelle**, PhD (USA, Washington, George Washington University)

**N. Lomagin**, PhD (Russia, St. Petersburg, European University at St. Petersburg)

**O. Malinova**, PhD (Russia, Moscow, National Research University Higher School of Economics)

**T. Nicodemo**, PhD (Brazil, São Paulo, University of Campinas)

**L. Neumayer**, PhD (France, Paris, Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

**L. Repina**, PhD, corresponding member of the Russian Academy of Sciences (Russia, Moscow, Institute of World History, Russian Academy of Sciences)

**R. Sakwa**, PhD (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Canterbury, University of Kent at Canterbury)

**D. Staliunas**, PhD (Lithuania, Vilnius, Lithuanian Institute of History)

**V. Syrov**, PhD (Russia, Tomsk, Tomsk State University)

**B. Trencsényi**, PhD (Hungary, Budapest, Central European University)

# СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

## ПАМЯТЬ МИГРАНТОВ ИЛИ МИГРАЦИЯ ПАМЯТИ

- Линченко А. А.**  
Миграция и миграционные сообщества  
в фокусе memory studies ..... 6
- Палмбергер М.**  
Реляционная амбивалентность: исследуя  
социальные и дискурсивные измерения  
амбивалентности. Случай стареющих тру-  
довых мигрантов из Турции ..... 17
- Соколова А. Н.**  
Традиционный танец в свете памяти инпат-  
риантов и диаспоры (на примере черкесов  
Турции и Косово) ..... 35
- Баранова Е. В., Маслов В. Н., Орлова В. Д.**  
Дом сельского переселенца: трехмерное  
моделирование и память о послевоенных  
миграциях в Калининградскую область ..... 45

## МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

- Сыров В. Н., Агафонова Е. В.**  
Конструктивизм и проблема ответствен-  
ности ..... 56
- Бутейко Д. А.**  
К проблеме оценивания в сфере культурно-  
исторической памяти ..... 65
- Головашина О. В.**  
«Метаистория» Х. Уайта и социальные усло-  
вия исторической ответственности ..... 73
- Беляева Е. В.**  
Моральная проработка коллективной  
травмы (на материале белорусского про-  
теста 2020–2021 гг.) ..... 80

## MIGRANT MEMORY OR MEMORY MIGRATION

- Linchenko A. A.**  
Migration and Migratory Communities  
in the Focus of Memory Studies ..... 6
- Palmberger M.**  
Relational Ambivalence: Exploring the Social  
and Discursive Dimensions of Ambivalence —  
The Case of Turkish Aging Labor Migrants ..... 17
- Sokolova A. N.**  
Traditional Dance in the Memory of Inpatriates  
and Diaspora (on the Example of the Circas-  
sians of Turkey and Kosovo) ..... 35
- Baranova E. V., Maslov V. N., Orlova V. D.**  
House of a Rural Migrant: Three-dimensional  
Modeling and Memory of Post-war Migrations  
to the Kaliningrad Region ..... 45

## METAMORPHOSES OF HISTORICAL RESPONSIBILITY: FROM THEORY TO PRACTICE

- Syrov V. N., Agafonova E. V.**  
Constructivism and the Problem of Responsi-  
bility ..... 56
- Buteiko D. A.**  
To the Problem of Evaluation in the Field  
of Cultural-Historical Memory ..... 65
- Golovashina O. V.**  
H. White's "Metahistory" and the Social Con-  
ditions of Historical Responsibility ..... 73
- Belyaeva E. V.**  
Moral Elaboration of Collective Trauma (Based  
on the Belarusian Protest 2020–2021) ..... 80

# ПАМЯТЬ МИГРАНТОВ ИЛИ МИГРАЦИЯ ПАМЯТИ

Научная статья  
УДК 314.7.044 + 325.1 + 316.325  
doi 10.15826/tetm.2021.2.009

## Миграция и миграционные сообщества в фокусе memory studies

**Андрей Александрович Линченко**

*Финансовый университет при Правительстве РФ, Липецк, Россия*

linchenko1@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6242-8844>

**Аннотация.** Статья посвящена анализу специфики и трансформации исследовательского поля коллективной памяти миграционных сообществ. Показано, что ключевое значение для исследований памяти миграционных сообществ сыграла эпоха мультикультурализма, которая способствовала не только увеличению числа исследований, но и расширению самих аспектов изучения темы. Были выявлены и проанализированы три основных направления исследований: а) личностные и групповые воспоминания о миграции, а также специфика коллективной памяти различных миграционных групп; б) изучение коллективных представлений о прошлом мигрантов в контексте политики инкорпорирования и политик памяти принимающих обществ; в) изучение репрезентации исторического опыта миграций и миграционных сообществ в музейной практике. Обосновывается мысль, что теоретический и практический потенциал обращения к памяти миграционных сообществ способствовал не только трансформации исследовательской оптики memory studies, но и показал неизбежность существенных изменений в понимании онтологии самой коллективной памяти. Это нашло выражение в актуализации транскультурного поворота, ориентированного на преодоление методологического национализма и рассматривающего коллективную память не только в рамках определенных культур или сообществ, но и ее динамику за пределами культурных и социальных границ. В статье проанализировано значение транскультурного поворота для исследований коллективной памяти мигрантов.

**Ключевые слова:** коллективная память, миграционные сообщества, memory studies, транскультурный поворот, память о миграциях

**Для цитирования:** Линченко А. А. Миграция и миграционные сообщества в фокусе memory studies // Tempus et Memoria. 2021. Т. 2, № 2. С. 6–16. <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.009>.

**Благодарности:** подготовлено при финансовой поддержке гранта РНФ, проект № 22-28-00503 «Трансформация коллективной памяти миграционных сообществ в современной России: межпоколенческая динамика, семейные ценности и коммеморативные практики».

© Линченко А. А., 2021

Original article

## Migration and Migratory Communities in the Focus of Memory Studies

Andrey A. Linchenko

Financial University under the Government of Russian Federation, Lipetsk, Russia

linchenko1@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0001-6242-8844>

**Abstract.** The article is devoted to the analysis of the specificity and transformation of the research field of the collective memory of migratory communities. It was shown that the era of multiculturalism, which contributed not only to an increase in the number of studies, but also to the expansion of the very aspects of the study of the topic, played a key role in the study of the memory of migratory communities. Three main areas of research were identified and analyzed: a) personal and group memories of migration, as well as the specificity of the collective memory of various migration groups; b) the study of collective perceptions of the past of migrants in the context of the politics of incorporation and the politics of memory of host societies; c) study of the representation of the historical experience of migrations and migratory communities in museum practice. The idea was substantiated that the theoretical and practical potential of addressing the memory of migratory communities contributed not only to the transformation of the research optics of memory studies, but also showed the inevitability of significant changes in the understanding of ontology of collective memory. This found expression in the actualization of the transcultural turn, focused on overcoming methodological nationalism and considering collective memory not only within the framework of certain cultures or communities, but also its dynamic beyond cultural and social boundaries. The article analyzes the significance of the transcultural turn for research into the collective memory of migrants.

**Keywords:** collective memory, migratory communities, memory studies, transcultural turn, memory of migrations

**For citation:** Linchenko, A. A. (2021). Migratsiya i migratsionnyye soobshchestva v fokuse memory studies [Migration and migratory communities in the focus of memory studies]. *Tempus et Memoria*, 2, 2, 6–16. (In Russ.). <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.009>.

**Acknowledgments:** the article was prepared with the financial support of the Russian Science Foundation, the grant No. 22-28-00503 “Transformation of the collective memory of migratory communities in modern Russia: intergenerational dynamics, family values and commemorative practices”.

Миграционные процессы продолжают оставаться одним из ключевых вызовов не только современного общества, но и, как это ни парадоксально, культур и обществ прошлого. Это связано с тем, что, внося изменения в жизнь принимающей страны, сообщества мигрантов в явном или неявном виде изменяют и картину прошлого принимающего общества. «Культурная память перестала быть личным делом каждого народа». Эти слова Алейды Ассман могут рассматриваться не только как констатация факта, но и как призыв к выработке новых моделей динамики культурной памяти в современном мире. И действительно, увеличение интенсивности миграционных процессов создает принципиально новые условия и конфигурацию социального пространства,

важнейшими атрибутами которого оказываются мобильности, трансферы и трансформационные процессы. В этой связи неизбежны существенные изменения в самой онтологии культурной памяти. Речь идет об изменениях ее содержания, структуры, иерархии и конфигурации составных частей и элементов, смысловых полей, границ культурной памяти локальных групп. Изменяются также и динамика культурной памяти, механизмы взаимосвязи в ней модусов времени.

Проблемы миграции и миграционных сообществ давно уже являются одной из ключевых тем в современной экономике, социологии, демографии, антропологии, социальной психологии, истории и философии. Примечательно, что во всех перечисленных дисциплинах мы наблюдаем не только разнообразные

эмпирические исследования, но и многочисленными попытками теоретизации [Migration Theory]. Вполне ожидаемым в этой связи стало проникновение миграционной проблематики и в memory studies, где с начала 2000-х гг. проблемы памяти миграционных сообществ, коллективной памяти о миграциях стали привлекать все большее внимание исследователей [Memory and Migration; Migration and Memory; History, Memory and Migration; Memories on the Move]. Что представляет собой данное исследовательское поле? Как изменялась исследовательская оптика в сфере исследований памяти миграционных сообществ на протяжении последних двух десятилетий? Какие темы актуальны для данного исследовательского поля сегодня? Ответам на эти вопросы и будет посвящена наша обзорная статья, предваряющая собой тематический номер данного журнала.

### От исследований истории миграции к изучению памяти миграционных сообществ

После Второй мировой войны западные страны столкнулись с возрастающей потребностью в рабочей силе, что интенсифицировало трудовую миграцию. Однако до начала 1980-х гг. общей для большинства западных стран оставалась мысль об ассимиляции мигрантов как наиболее оптимальной форме их интеграции. В этой связи взаимоотношение мигрантов и принимающего общества на уровне культурной памяти также приобрело однозначный характер, следствием чего являлось не только невнимание принимающего общества к культурной идентичности мигрантов и ее воплощениям в различных практиках, но и практически полное отсутствие попыток научного изучения данной темы. Предполагалось, что мигранты, прибывающие в страны Западной Европы и Северной Америки, должны были просто как можно быстрее изменить свою идентичность, что находило отражение в емкой формуле: контакт — соревнование — приспособление — ассимиляция [Hahn, 34].

Исследования истории миграции получают активное развитие в конце 60-х — начале 70-х гг. прошлого века в рамках расцвета социальной истории. В условиях роста интереса

к истории индустриализации, неравенствам, классовому конфликту, мобильности и социальным изменениям темы гендера и этничности становятся «центральными категориями исторического анализа» [Hoffmann, 44]. В первую очередь этот поворот к истории миграции был связан с работами К. Холмса в Великобритании, К.-Ю. Бадэ в ФРГ, Ж. Нуареля во Франции, Х. Рунблома в Швеции и Я. Лукассена в Нидерландах. Именно демократические общества и их история оказывались особенно чувствительными к проблематике репрезентации исторического опыта мигрантов. Определенным выходом для некоторых исследователей явилась попытка рассматривать историю миграции как историю рабочего движения (Э. Хобсбаум) или рассматривать мигранта, аналогичного образам «безумца» (Дж. Дж. Комарофф). Еще один выход — это обсуждение самого языка, на котором может быть репрезентирована миграция в исторической науке (Ж. Нуарель, Дж. Скотт).

Одним из первых на связь между памятью и миграцией указал в своей работе Ансельм Штраусс, когда он, обращаясь к проблемам коллективной идентичности в конце 1950-х гг., говорил о потере иммигрантами их памяти и идентичности после прибытия в новую страну [Strauss, 168]. Однако обращение к теме «миграция и память» продолжало оставаться эпизодическим до конца 1980-х гг., несмотря на дискуссии о политике идентичности в отношении мигрантов. Ситуация начинает меняться в конце 1980-х — начале 1990-х гг. в контексте роста популярности постколониальных исследований и распространения идей мультикультурализма. Не случайно в 1988 г. Хоми Бхабха, отмечая связь между исследованиями памяти и исследованиями идентичности мигрантов, писал, что «культурное разнообразие также является репрезентацией радикальной риторики сепарации тотальных культур, которые живут невинной жизнью при помощи интертекстуальности их исторических локализаций, сохраняя в утопии мифической памяти самобытную коллективную идентичность» [Bhabha, 18]. Здесь также следует указать на ряд работ французских авторов, изучавших теоретические аспекты роли коллективных воспоминаний в диаспорах и транснациональную миграцию [Dakhli; Barou; Hervieu-Léger].

Вместе с тем о формировании исследовательской тенденции до начала 2000-х гг. говорить еще не приходится, поскольку исследования отдельных аспектов памяти миграционных сообществ скорее оказываются вспомогательными в рамках устной истории, антропологии, социологии, а также cultural studies.

### Мультикультурализм и исследования памяти мигрантов

Ключевое значение для исследований памяти миграционных сообществ сыграла эпоха мультикультурализма. Российский исследователь Владимир Малахов полагает, что термин «мультикультурализм» появился в контексте проблем организации культурного разнообразия в западных обществах в 80-е гг. прошлого столетия. Он отмечает, что речь идет об институционализации культурных различий. Государство трансформирует свойственный либерализму принцип гомогенности публичной сферы (все культурные различия вытесняются в приватную сферу) и обращается со своими гражданами не только как с индивидами, но и как с представителями этнокультурных групп [Малахов]. Мультикультурализм способствовал формированию представлений об «обществе разнообразия», где сама культура памяти принимающего общества не является однородной. В этой связи возрастала не только роль меньшинств, но и потребность в обращении к культурам воспоминаний мигрантов, которые до 1980-х гг. существовали скорее в виде «параллельных» сообществ памяти. Совершенно справедливо отмечает немецкий исследователь Арндт Бауэркэмпфер, что «в этот переходный период воспоминания становятся источником согласования и культуры памяти изменяют структуру особенно фундаментально. В этом процессе мигранты оказываются вынуждены позиционировать себя в отношении доминирующих нарративов» [Bauerkämper, 43].

Если говорить о государствах Северной Америки и Западной Европы, то такими общими рамками оказываются память о событиях Второй мировой войны, Холокост и тема общеевропейской памяти. Следует также заметить, что тема культур воспоминаний мигрантов в западных обществах в эпоху мультикультурализма

оказывается частью более широкого дискурса о правах этнических, религиозных и расовых меньшинств и их культур воспоминаний.

Применительно к исследованиям памяти миграционных сообществ конца 1990–2000-х гг. можно говорить не только об увеличении числа исследований, но и о расширении самих аспектов изучения темы. Речь, во-первых, идет о многочисленных исследованиях личностных и групповых воспоминаний о миграции, а также о все более возрастающем интересе к специфике коллективной памяти различных миграционных групп как в «классических иммиграционных странах» (США, Канада, а за пределами Северной Америки — Австралия и Новая Зеландия), так и в Евросоюзе. В данном случае укажем на целый ряд сборников и монографий [Wirth; Kasaba; Memory and Migration; Migration and Memory; History, Memory and Migration; Melnyczuk; Memories on the Move], где объектом исследований стали проблемы повседневных воспоминаний еврейских и итальянских женщин в Нью-Йорке первой половины XX в., память о миграции во втором и третьем поколениях итальянских переселенцев в США, проблемы травматических воспоминаний украинских беженцев в Австралии, проблемы воспоминаний о Второй мировой войне этнических немцев в Канаде, воспоминания различных миграционных сообществ в Великобритании, Франции и Германии. Например, в исследовании Лоурен Гийот подробно анализируется культура воспоминаний сообщества курдов в современной Франции. Исследовательница сравнивает коллективные воспоминания курдов во Франции и в Турции. Она отмечает, что община, живущая во Франции, поместила себя в некое подобие «мемориального гетто», построив вокруг мифа о возвращении «замороженное» представление о регионе исхода.

Невозможность скорбеть на родной земле обернулась в этой общине стремлением защитить память от интеграционных процессов принимающего общества, что, по мысли активных членов сообщества, может привести к утрате традиций и ценностей. Это источник конфликтности памяти общины по отношению к культурной памяти других меньшинств и доминирующей культуры во Франции. «Каждая ссылка на трудности войны и жестокость высылки усиливает чувства принадлежности к группе. Как

следствие, попытки примириться с прошлым оказывают пагубное воздействие» [Guyot, 140]. При этом исследование курдских сообществ памяти в Турции показало большую открытость их настоящему и его реалиям.

Показательно, что современные исследователи указывают не только на тезис о неоднородности принимающего общества, но и на фрагментированность культурной памяти самих сообществ мигрантов. В этой связи обращает на себя внимание работа Негрисы Канефе, которая в своем исследовании публичных деятелей мусульманской общины в Канаде показывает, как воспоминания беженцев и мигрантов из одной и той же страны исхода могут быть различны и выступать предметом политической борьбы в оценках лидеров. Она отмечает, что в то время как воспоминания о доме являются формой надежды для многих беженцев, «ссылка ведет к партикулярному и высокополитизированному жанру воспоминаний персональной, общинной и национальной историй» [Canefe, 170]. Изучая фигуры публичных деятелей мусульманской общины в Канаде — Тарека Фатаха и Хайдекха Мохисси, автор отмечает, что в то время как они полностью разделяют память о вынужденной миграции, их публичные заявления иногда «идут недвусмысленно против коллективных воспоминаний мигрантов из тех же самых стран, откуда они были высланы» [Там же, 160].

Тезис о фрагментированности памяти миграционных сообществ получает особый смысл также и в контексте обращения исследователей ко второму и третьему поколениям мигрантов в странах Северной Америки и Евросоюза. В этой связи особо отметим все более возрастающий интерес исследователей к изучению трансколенческой динамики коллективных воспоминаний мигрантов и в первую очередь их семейной памяти [Migration und Erinnerung; Shaw; Rosenthal, Stephan, Radenbach; Palmberger 2016; Palmberger 2019]. Интересный пример находим в недавнем исследовании немецких подростков в Берлине, имеющих миграционные корни. Автор исследования Джозефина Рааш показывает, что дети мигрантов зачастую не стремятся к формированию исторического сознания, отражающего их диаспорную или гибридную идентичность. Он отмечает, что они идентифицируют себя ситуативно, выбирая

в качестве значимых дат и событий разные страницы международного прошлого [Raasch, 82].

Следует отметить не только рост индифферентности детей и внуков мигрантов к культурной памяти принимающего общества, но и трансформацию их отношения к памяти о стране исхода. Показателен пример разных поколений боснийских мигрантов в Дании, ставших объектом научного интереса Сандры Уллен, исследователя из Венского университета. Взяв в качестве объекта исследования одну семью и ее регулярные визиты в Боснию, Сандра Уллен проанализировала представления и память разных поколений боснийских беженцев в отношении их дома и мест памяти в стране исхода. Было выявлено, что если для старшего поколения семьи посещение дома являлось напоминанием о довоенных временах и возвращением в прошлое, то для молодых боснийцев это место представлялось пространством отдыха и зоной встреч со старшими родственниками [Üllen, 94].

Второе направление исследований оказалось связанным с изучением коллективных представлений мигрантов (включая их образы прошлого) в контексте политики инкорпорирования и политик памяти принимающих обществ [Geschichte und Gedächtnis; Diaspora and Memory; History, Memory and Migration]. В последние годы исследовательский интерес зарубежных коллег в данном случае был направлен на использование коммемораций 150-летней годовщины голода в Ирландии как рамки для обсуждения места и роли беженцев; на роль воспоминаний в актуализации форм политической принадлежности мигрантов в Австралии; на изучение роли фольклора мигрантов как фактора актуализации их социальных позиций в сингапурском обществе; на использование турецкими мигрантами коммеморативных практик для политической борьбы за гражданские права в ФРГ.

Отдельное место в данном направлении занимают исследования восприятия Холокоста в среде второго поколения мигрантов в Евросоюзе [Perceptions...; Holocaust Memory]. Несмотря на то что понимание и принятие памяти о Холокосте являются важными моментами для социализации любых мигрантов в Германии, зарубежными исследователями было выявлено, что не менее распространенной в культуре

памяти арабских граждан ФРГ является самовиктимизация (*self-victimization*). Позиция арабских и, шире, части мусульманских сообществ в Германии состоит в требовании признать арабов такими же жертвами израильской агрессии, как и евреев — жертвами Холокоста. Так, в 2005–2007 гг. немецкий историк Гюнтер Якели провел интервьюирование 117 молодых мусульман в Берлине, Париже и Лондоне. Исследование выявило существенный недостаток знаний о Холокосте. Более того, значительное количество респондентов принаило значение Холокоста и стремилось показать его рядовое значение в ряду других геноцидов, в частности, в бедственном положении палестинцев под израильским правлением. Немецкий исследователь показывает высокий уровень антисемитизма и конспирологических теорий, а также отмечает, что они не столько оправдывали немцев, сколько отрицали тезис о коллективной немецкой вине. Вместе с тем с точки зрения цифр исследования ситуация выглядит достаточно противоречивой. С одной стороны, 17 % мусульман в Великобритании верят в то, что Холокост переоценен и число еврейских жертв преувеличено [Jikeli, 106]. С другой стороны, тот же Г. Якели отмечает, что большинство мусульман в Европе отрицают антисемитизм и рассматривают Холокост как преступление против человечности. Радикализм суждений оказывается свойствен лицам, вовлеченным в той или иной степени в арабо-израильское противостояние [Ibid., 118].

Следует отметить исследования французских коллег, указывающих на то, что учителя в школах с большим количеством детей из мусульманских семей стремятся игнорировать Холокост как учебную тему на своих уроках [Whine, 35]. При этом показательна позиция мусульманских сообществ в Германии и Нидерландах, где наиболее значимые мусульманские организации активно принимают участие в коммеморациях. Выразительным в этой связи является пример сотрудничества союза турок федеральной земли Берлин–Бранденбург и еврейских организаций, последовательно осуждавших любые проявления расизма и выступавших за солидарность еврейских и мусульманских меньшинств, а также мигрантов, прибывающих в Германию [Vodeman, Yüdrakul]. Исследователи указывают

также и на позитивный опыт интеграции культуры воспоминаний турецких мигрантов в Нидерландах в европейскую культуру памяти о Холокосте [Stremmelaar, 78].

Третье направление исследований, активно развивающееся и в наши дни, связано с изучением репрезентации исторического опыта миграций и миграционных сообществ в музейной практике. Теоретической основой трансформации *museum studies* в свете миграционной проблематики стали идеи Джона Урри, который, развивая мысль о «путешествующих культурах» (*travelling cultures*), неоднократно предостерегал против любых попыток представлять культурное наследие в качестве статичного объекта и формулировать на этой основе антологию музейной теории [Urry]. Основной упрек Дж. Урри состоит в предельной сфокусированности европейских музеев на национальном наследии, которое должно рассматриваться как «создаваемый культурный процесс». Однако только в начале 2000-х гг. тема экспонирования памяти и исторического опыта мигрантов получает в Европе существенное развитие. Этому предшествовала серьезная критика Жераром Нуарелем знаменитой концепции французских мест памяти Пьера Нора, где миграция оказалась лишь в фокусе темы «Французы и чужаки», что скорее исключало их из национальных воспоминаний.

Не меньшей критике подвергся и немецкий аналог мест памяти, авторы которого сами честно указали на отсутствие исторического опыта мигрантов в Германии как части немецкой национальной идентичности [*Deutsche Erinnerungsorte*]. Надо заметить, что критика немецкого аналога не была случайной в свете провала большинства инициатив левых политиков и представителей сообществ мигрантов в 1990-е гг. по созданию национального музея миграции. Вместе с тем исследования показывают, что, несмотря на то что на общегосударственном уровне такая инициатива не получила поддержки, региональные музеи и музеи коммун уже в 1990-е гг. активно инкорпорировали воспоминания мигрантов [Ettingshausen]. Во Франции Национальный музей истории миграции был открыт только в 2007 г., а в Великобритании его аналог появился через десять лет. На данный момент музеи миграции открыты в Германии,

Нидерландах, Португалии, Испании, Швейцарии, Италии. При этом отмечается, что музеи миграции превращаются в современной Европе в важные «агенты социальных изменений», постоянно получая творческий импульс «снизу» в презентации нарративов все новых этнических групп и меньшинств [Gouriévidis, 9]. Тем не менее критики продолжают отмечать тот факт, что «вместо того, чтобы инкорпорировать миграцию в национальные воспоминания или даже инкорпорировать их как элементы национальных воспоминаний, европейские общества рассматривают воспоминания мигрантов как параллельную линию» [Glynn, Kleist, 15].

Несколько иной видится проблема памяти мигрантов в музейном пространстве в США и Канаде. Однако и здесь, несмотря на иммиграционные основы самих этих стран, музеефикация исторического опыта мигрантов получила активное развитие только в 80–90-е гг. прошлого столетия. Несмотря на то что первая постоянная выставка, посвященная иммигрантам, появилась в США в 1972 г., первый большой национальный музей миграции был открыт только в 1990 г. на острове Эллис. Однако и здесь, равно как и в Канаде и в Австралии, исследователи отмечают тенденцию национализации музеями воспоминаний мигрантов, стремление вписать их в «большую национальную историю», «сделать частью национальной памяти о миграции» [Baur; McShane]. Отличительной особенностью американского и канадского опыта музеефикации памяти мигрантов также является практика включения их в выставки и экспозиции, посвященные проблемам этнических меньшинств (Канада, США), и в особенности в выставки, связанные с преодолением расистских взглядов в отношении афроамериканцев (США). Таковы канадский музей прав человека (Виннипег) и музей толерантности в США (Лос-Анджелес).

### **Транскультурный поворот: от памяти миграционных сообществ к миграциям памяти**

Рост интереса к исследованиям памяти миграционных сообществ в 2010-е гг. вызвал не только увеличение числа исследовательских аспектов, но и способствовал расширению

методологической оптики. Последнее нашло выражение в актуализации транскультурного поворота (transcultural turn), ориентированного на преодоление методологического национализма и рассматривающего коллективную память за пределами любых культурных и социальных границ. В таком случае память оказывалась подвижной, а ее элементы становились способными перемещаться через границы и воспроизводиться в новых контекстах. Миграционные сообщества в таком случае уже оказываются одним из примеров подобной миграции памяти. Усилиями А. Эрл, Л. Бонд, Р. Кроншоу, М. Ротберга, А. Ригни транскультурный поворот начал рассматриваться как исследовательская перспектива, как «фокус внимания, направленный на мнемонические процессы, происходящие в культурах и за их пределами» [Erl 2011, 12–13]. Однако явление миграций памяти на данный момент все еще не получило однозначной теоретической интерпретации, что хорошо видно в большом числе концептов, фиксирующих данные процессы: «путешествующая память» (travelling memory), «непривязанная память» (memory unbound), «транскультурная память» (transcultural memory), «память в движении» (memory on the move), «коннективная память» (connective memory), «транснациональная память» (transnational memory), «разнонаправленная память» (multidirectional memory).

Характерно, что, намечая теоретические подходы к изучению понятия «путешествующая память», А. Эрл указывает на необходимость подробного анализа носителей, медиа, содержания, практик и форм, оказывающих влияние на специфику миграций памяти. В отношении наиболее интересной для нас в данной статье транскультурной памяти упомянутая выше немецкая исследовательница указывает следующее: «Транскультурная память относится не только к (1) таким осознанным и продуктивным связям воспоминаний, которые раньше считались отдельными и принадлежали разным группам; в более общем плане ее можно представить как (2) перемещение мнемонических архивов через пространственные, временные и социальные, но также лингвистические и медийные границы, а также (3) смешение воспоминаний в контекстах высокой культурной сложности» [Ibid. 2014, 178].

Что же нового дает транскультурный поворот для исследований памяти миграции и миграционных сообществ? Во-первых, транскультурный подход смещает внимание не только к памяти миграционных сообществ в нескольких поколениях, но и к самой динамике этой памяти, циркуляции в ней образов и нарративов других культур. Во-вторых, транскультурный подход усиливает акцент на разнонаправленных векторах памяти и неоднородности памяти как миграционных сообществ, так и мемориальных культур принимающих обществ. В-третьих, самих мигрантов можно рассматривать как транснациональную группу, память которой определяется не этнической принадлежностью и гражданством, а культурными практиками. Границы идентификации транснациональных мигрантов и, как следствие, их образы в памяти оказываются «плавающими» и выстраиваются ситуативно контексту. Одним из таких контекстов является транскультурный контекст и его «референтная группа памяти» [Carrier, Kabaleck, 54]. В-четвертых, транскультурный поворот в изучении памяти мигрантов актуализирует агонистический подход к нарративам мигрантов. Мы находим очень точную интерпретацию этого подхода в статье Ханса Лауге Хансена: «Агонистические нарративы миграции — это истории, способные одновременно противостоять двум взаимодополняющим и гегемонистским дискурсам о миграции, антагонистическому, нео-националистическому дискурсу, представляющему мигранта как угрозу, и гуманитарному дискурсу, представляющему мигранта в качестве жертвы. Вместо этого агонистические нарративы нацелены на формирование альянсов посредством протеста и действий против неравенства и дискриминации» [Hansen, 1].

Таким образом, увеличение интенсивности миграционных процессов способствовало трансформации исследовательской оптики *memory studies*, что нашло выражение в активном развитии исследований памяти миграционных сообществ и коллективной памяти о миграциях в 2000-е гг. Ключевое значение для исследований памяти миграционных сообществ сыграла эпоха мультикультурализма, которая способствовала не только увеличению

числа исследований, но и расширению самих аспектов изучения темы. В фокусе внимания оказывались личностные и групповые воспоминания о миграции, а также специфика коллективной памяти различных миграционных групп. Современные исследователи указывают не только на тезис о неоднородности принимающего общества, но и на фрагментированность культурной памяти самих сообществ мигрантов. В дальнейшем тезис о фрагментированности памяти миграционных сообществ получает особый смысл также и в контексте обращения к транспоколенческой динамике коллективных воспоминаний мигрантов и в первую очередь их семейной памяти.

Второе направление исследований оказалось связанным с изучением коллективных представлений мигрантов (включая их образы прошлого) в контексте политики инкорпорирования и политик памяти принимающих обществ. Третье направление исследований связано с изучением репрезентации исторического опыта миграций и миграционных сообществ в музейной практике. Теоретический и практический потенциал обращения к памяти миграционных сообществ способствовал не только трансформации исследовательской оптики *memory studies*, но и показал неизбежность существенных изменений в самой онтологии культурной памяти: ее содержания, структуры, динамики, конфигурации составных частей и элементов, смысловых полей и границ культурной памяти локальных групп. Это нашло выражение в актуализации транскультурного поворота, ориентированного на преодоление методологического национализма и рассматривающего коллективную память не только в пределах определенных культур или сообществ, но и за пределами любых культурных и социальных границ. В таком случае память оказывается подвижной, а ее элементы способны перемещаться через границы и воспроизводиться в новых контекстах. Миграционные сообщества в таком случае являются только одним из примеров подобной миграции памяти, что свидетельствует о необходимости дальнейшего продолжения изучения интересующей нас темы и объединения усилий отечественных и зарубежных исследователей.

## СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

- Малахов В. С. Культурные различия и политические границы в эпоху глобальных миграций. М. : Новое лит. обозрение, 2011. 232 с.
- Barou J. *Mémoire et Integration*. Paris : Syros, 1993. 115 p.
- Bauerkämper A. Holocaust memory and the experiences of migrants: Germany and Western Europe after 1945 // *Holocaust Memory in a Globalizing World* / ed. by Jacob S. Eder, Philip Gassert and Alan E. Steinweis. Göttingen : Wallstein Verlag, 2017. P. 31–45.
- Baur J. Commemorating Immigration in the Immigrant Society: Narratives of Transformation at Ellis Island and the Lower East Side Tenement Museum // *Enlarging European Memory: Migration Movements in Historical Perspective* / ed. by M. König & R. Ohliger. Ostfildern : Thorbecke, 2006. P. 137–146.
- Bhabha H. The Commitment to Theory // *New Formations*. 1988. № 5. P. 5–23.
- Bodeman Y., Yudrakul G. Learning Diaspora, German Turks and the Jewish Narrative // *The New German Jewry and the European Context* / Y. Bodeman, G. Yudrakul. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2008. P. 73–79.
- Carrier P., Kabaleck K. Cultural Memory and Transcultural Memory — a Conceptual Analysis // *The Transcultural turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders* / eds. L. Bond, J. Rapson. Berlin ; New York : De Gruyter, 2014. P. 39–60.
- Dakhlija J. *L'Oubli de la Cité: la Mémoire Collective à l'Épreuve du Lignage dans le Jérid Tunisien*. Paris : la Découverte, 1990. 327 p.
- Deutsche Erinnerungsorte / eds. E. Francois, H. Schulze. München : C. H. Beck, 2001. Vol. 1–3.
- Diaspora and Memory. Figures of Displacement in Contemporary Literature, Arts and Politics / ed. by Marie-Aude Baronian, Stephan Besser and Yolande Jansen. New York : Editions Rodopi B. V., 2007. 213 p.
- Erl A. Travelling Memory // *Parallax*. 2011. № 17 (4). P. 4–18.
- Erl A. Transcultural Memory // *Témoigner. Ente histoire et mémoire*. 2014. № 119. P. 178.
- Ettingshausen E. Das Notaufnahmelager in Giessen als Ort der Erinnerung // *Spiegel der Forschung*. 2009. № 26 (2). S. 22–23.
- Geschichte und Gedächtnis in der Einwanderungsgesellschaft: Migration zwischen historischer Rekonstruktion und Erinnerungspolitik / Herausgegeben von Jan Motte und Rainer Ohliger. Essen : Klartext Verlag, 2004. 351 S.
- Glynn I., Kleist O. The Memory and Migration Nexus: An Overview. *History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation* / by I. Glynn, J. Olaf Kleist (eds.). London : Palgrave MacMillan, 2012. P. 3–33.
- Gouriévidis L. Representing Migration in Museums: History, Diversity and the Politics of Memory // *Museums and Migration: History, Memory and Politics*. London : Routledge, 2014. P. 1–25.
- Guyot L. Locked in a Memory Ghetto: a Case Study of Kurdish Community in France. *Memory and Migration: multidisciplinary approaches to memory studies* / ed. by Julia Creet and Andrea Kitzmann. Toronto : University of Toronto Press, 2011. P. 135–156.
- Hahn S. *Historische Migrationsforschung*. Frankfurt : Campus, 2012. 233 S.
- Hansen H. L. On Agonistic Narratives of Migration // *International Journal of Cultural Studies*. 2020. № 1. P. 1–17.
- Hervieu-Léger D. *La religion Pour Mémoire*. Paris : Cerf., 1993. 274 p.
- History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation / J. Glynn, O. Kleist (eds.). London : Palgrave MacMillan, 2012. 243 p.
- Hoffmann C. Class vs. ethnicity. Concepts of migrant historiographies in Britain and (West) Germany, 1970s–1990s. *Migrant Britain. Histories and Historiographies: essays in Honor of Colin Holmes* / ed. by J. Craig-Norton, C. Hoffmann, T. Kushner. New York ; London : Routledge, 2018. P. 43–55.
- Holocaust Memory in a Globalizing World* / ed. by Jacob S. Eder, Philip Gassert and Alan E. Steinweis. Göttingen : Wallstein Verlag, 2017. 328 p.
- Jikeli G. Perceptions of the Holocaust Among Young Muslims in Berlin, Paris and London. *Perceptions of the Holocaust in Europe and Muslim Communities: Sources, Comparisons and Educational Challenges* / Günther Jikeli, Joëlle Allouche-Benayoun (eds.). Dordrecht : Springer, 2013. P. 105–133.
- Canefe N. Home in Exile: Politics of Refugeehood in the Canadian Muslim Diaspora. *Memory and Migration: multidisciplinary approaches to memory studies* / ed. by Julia Creet and Andrea Kitzmann. Toronto : University of Toronto Press, 2011. P. 156–183.
- Kasaba K. F. *Memories of Migration. Gender, Ethnicity, and Work in the Lives of Jewish and Italian Women in New York, 1870–1924*. New York : State University of New York Press, 1996. 258 p.
- McShane I. Challenging or Conventional: Migration History in Australian Museums // *National Museums: Negotiating Histories: Conference Proceedings*. Canberra : National Museum of Australia, 2001. P. 122–133.
- Melnyczuk L. *Silent Memories. Traumatic Lives. Ukrainian Migrant Refugees in Western Australia*. Welshpool : Western Australian Museum, 2012. 332 p.
- Memories on the Move. *Experiencing Mobility, Rethinking the Past* / eds. M. Palmberger, J. Tošić. London : Palgrave MacMillan, 2012. 293 p.
- Memory and Migration: multidisciplinary approaches to memory studies / eds. J. Creet, A. Kitzmann. Toronto : University of Toronto Press, 2011. 325 p.
- Migration and Memory. *Representations of Migration in Europe since 1960* / eds. C. Hintermann, C. Johansson. Innsbruck : Studien Verlag, 2010. 224 p.
- Migration Theory. *Talking across Disciplines* / ed. by C. B. Brettell, J. F. Hollifield. New York : Routledge, 2000. 306 p.
- Migration und Erinnerung. *Reflexionen über Wanderungserfahrungen in Europa und Nordamerika* / Hazig Ch. (Hg.). Göttingen : V & Runipress, 2006. 225 S.
- Palmberger M. *How Generations Remember. Conflicting Histories and Shared Memories in Post-War Bosnia and Herzegovina*. London : Palgrave Macmillan, 2016. 268 p.

- PalMBERGER M. Relational ambivalence: Exploring the social and discursive dimensions of ambivalence — The case of Turkish aging labor migrants // *International Journal of Comparative Sociology*. 2019. Vol. 60(1–2). P. 74–90.
- Perceptions of the Holocaust in Europe and Muslim Communities: Sources, Comparisons and Educational Challenges / eds. G. Jikeli, J. Allouche-Benayoun. Dordrecht : Springer, 2013. 196 p.
- Raasch J. Using History to Relate: How teenagers in Germany Use History to Orient between Nationalities. *History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation* / eds. by I. Glynn, J. Olaf Kleist. London : Palgrave MacMillan, 2012. P. 68–87.
- Rosenthal G., Stephan V., Radenbach N. Brüchige Zugehörigkeiten. Wie sich Familien von Russlanddeutschen ihre Geschichte erzählen. Frankfurt a/M : Campus Verlag, 2011. 285 S.
- Shaw R. Afterword: Violence and the Generation of Memory. *Remembering Violence. Anthropological Perspectives on Intergenerational Transmission* / eds. N. Argenti, K. Schramm. New York : Berghahn Books, 2010. P. 251–260.
- Strauss A. *Mirrors and Masks: The Search for Identity*. Glencoe, Ill: The Free Press, 1959. 186 p.
- Stremmelaar A. Between National and Global Memory. *Commemoration of the Second World War in the Netherlands. In Holocaust Memory in a Globalizing World* / ed. by Jacob S. Eder, Philip Gassert and Alan E. Steinweis. Göttingen : Wallstein Verlag, 2017. P. 61–77.
- Ullen S. Ambivalent Sites of Memories: The Meaning of Family Homes for Transnational Families. *Memories on the Move Experiencing Mobility, Rethinking the Past* / Monika Palmberger and Jelena Tošić (eds.). London : Palgrave MacMillan, 2012. P. 75–99.
- Urry J. How societies Remember the Past. *Theorizing Museums: Representing Identity and Diversity in a Changing World* / Sharon MacDonald, Gordon Fyfe (eds.). Oxford/Cambridge : Blackwell, 1996. P. 45–65.
- Whine M. Participation of European Muslim Organisations in Holocaust Commemorations. *Perceptions of the Holocaust in Europe and Muslim Communities: Sources, Comparisons and Educational Challenges* / eds. G. Jikeli, J. Allouche-Benayoun. Dordrecht : Springer, 2013. P. 29–41.
- Wirth C. *Memories of Belonging. Descendants of Italian Migrants to the United States 1884 — Present*. Leiden-Boston : Brill, 2015. 420 p.

#### References

- Barou, J. (1993). *Mémoire et Integration*. Paris: Syros. 115 p.
- Bauerkämper, A. (2017). Holocaust memory and the experiences of migrants: Germany and Western Europe after 1945. *Holocaust Memory in a Globalizing World* / ed. by Jacob S. Eder, Philip Gassert and Alan E. Steinweis. Göttingen: Wallstein Verlag, 31–45.
- Baur, J. (2006). Commemorating Immigration in the Immigrant Society: Narratives of Transformation at Ellis Island and the Lower East Side Tenement Museum. *Enlarging European Memory: Migration Movements in Historical Perspective* / ed. by M. König & R. Ohliger. Ostfildern: Thorbecke, 137–146.
- Bhabha, H. (1988). The Commitment to Theory. *New Formations*, 5, 5–23.
- Bodeman, Y., Yudrakul, G. (2008). Learning Diaspora, German Turks and the Jewish Narrative. In *The New German Jewry and the European Context* / Y. Bodeman, G. Yudrakul. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 73–79.
- Carrier, P., Kabaleck, K. (2014). Cultural Memory and Transcultural Memory — a Conceptual Analysis. In L. Bond & J. Rapson (eds.) *The Transcultural turn: Interrogating Memory Between and Beyond Borders*. Berlin / New York: De Gruyter, 39–60.
- Dakhli, J. (1990). *L'Oubli de la Cité: la Mémoire Collective à l'Épreuve du Lignage dans le Jérid Tunisien*. Paris: la Découverte. 327 p.
- Deutsche Erinnerungsorte* (2001) / E. Francois & H. Schulze (eds.). München: C. H. Beck. Vol. 1–3.
- Diaspora and Memory. Figures of Displacement in Contemporary Literature, Arts and Politics* (2007) / ed. by Marie-Aude Baronian, Stephan Besser and Yolande Jansen. New York: Editions Rodopi B. V. 213 p.
- Erl, A. (2011). Travelling Memory. *Parallax*, 17 (4), 4–18.
- Erl, A. (2014). Transcultural Memory. *Témoigner. Ente histoire et mémoire*, 119, 178.
- Ettingshausen, E. (2009). Das Notaufnahmelager in Giessen als Ort der Erinnerung. *Spiegel der Forschung*, 26 (2), 22–23.
- Geschichte und Gedächtnis in der Einwanderungsgesellschaft: Migration zwischen historischer Rekonstruktion und Erinnerungspolitik* (2004) / Herausgegeben von Jan Motte und Rainer Ohliger. Essen: Klartext Verlag. 351 S.
- Glynn, I. & Kleist, O. (2012). The Memory and Migration Nexus: An Overview. *History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation* / by I. Glynn, J. Olaf Kleist (eds.). London: Palgrave MacMillan, 3–33.
- Gouriévidis, L. (2014). Representing Migration in Museums: History, Diversity and the Politics of Memory. *Museums and Migration: History, Memory and Politics*. London: Routledge, 1–25.
- Guyot, L. (2011). Locked in a Memory Ghetto: a Case Study of Kurdish Community in France. *Memory and Migration: multidisciplinary approaches to memory studies* / ed. by Julia Creet and Andrea Kitzmann. Toronto: University of Toronto Press, 135–156.
- Hahn, S. (2012). *Historische Migrationsforschung*. Frankfurt: Campus. 233 S.
- Hansen, H. L. (2020). On Agonistic Narratives of Migration. *International Journal of Cultural Studies*, 1, 1–17.
- Hervieu-Léger, D. (1993). *La religion Pour Mémoire*. Paris: Cerf. 274 p.
- History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation* (2012) / J. Glynn, O. Kleist (eds.). London: Palgrave MacMillan. 243 p.
- Hoffmann, C. (2018). Class vs. ethnicity. Concepts of migrant historiographies in Britain and (West) Germany, 1970s–1990s. *Migrant Britain. Histories and Historiographies: essays in Honor of Colin Holmes* / ed. by J. Craig-Norton, C. Hoffmann and T. Kushner. New York; London: Routledge, 43–55.

- Holocaust Memory in a Globalizing World* (2017) / ed. by Jacob S. Eder, Philip Gassert and Alan E. Steinweis. Göttingen: Wallstein Verlag. 328 S.
- Jikeli, G. (2013). Perceptions of the Holocaust Among Young Muslims in Berlin, Paris and London. *Perceptions of the Holocaust in Europe and Muslim Communities: Sources, Comparisons and Educational Challenges* / Günther Jikeli, Joëlle Allouche-Benayoun (eds.). Dordrecht: Springer, 105–133.
- Caneffe, N. (2011). Home in Exile: Politics of Refugeehood in the Canadian Muslim Diaspora. *Memory and Migration: multidisciplinary approaches to memory studies* / ed. by Julia Creet and Andrea Kitzmann. Toronto: University of Toronto Press, 156–183.
- Kasaba, K. F. (1996). *Memories of Migration. Gender, Ethnicity, and Work in the Lives of Jewish and Italian Women in New York, 1870–1924*. New York: State University of New York Press. 258 p.
- Malakhov, V. S. (2011). *Kul'turnye razlichiya i politicheskie granitsy v epokhu global'nykh migratsii* [Cultural differences and political boundaries in the era of global migrations]. Moscow: Novoye literaturnoye obozreniye. 232 p.
- McShane, I. (2001). Challenging or Conventional: Migration History in Australian Museums. *National Museums: Negotiating Histories: Conference Proceedings*. Canberra: National Museum of Australia, 122–133.
- Melnyczuk, L. (2012). *Silent Memories. Traumatic Lives. Ukrainian Migrant Refugees in Western Australia*. Welshpool: Western Australian Museum. 332 p.
- Memories on the Move. Experiencing Mobility, Rethinking the Past* (2012) / M. Palmberger & J. Tošić (eds.). London: Palgrave MacMillan. 293 p.
- Memory and Migration: multidisciplinary approaches to memory studies* (2011) / eds. J. Creet, A. Kitzmann. Toronto: University of Toronto Press. 325 p.
- Migration and Memory. Representations of Migration in Europe since 1960* (2010) / C. Hintermann, C. Johansson (eds.). Innsbruck: Studien Verlag. 224 p.
- Migration Theory. Talking across Disciplines* (2000) / ed. by C. B. Brettell, J. F. Hollifield. New York: Routledge. 306 p.
- Migration und Erinnerung. Reflexionen über Wanderungserfahrungen in Europa und Nordamerika* (2006) / Ch. Hazig (Hg.). Göttingen: V & R unipress. 225 S.
- Palmberger, M. (2016). *How Generations Remember. Conflicting Histories and Shared Memories in Post-War Bosnia and Herzegovina*. London: Palgrave Macmillan, 268.
- Palmberger, M. (2019). Relational ambivalence: Exploring the social and discursive dimensions of ambivalence — The case of Turkish aging labor migrants. *International Journal of Comparative Sociology*, 60(1–2), 74–90.
- Perceptions of the Holocaust in Europe and Muslim Communities: Sources, Comparisons and Educational Challenges* (2013) / G. Jikeli & J. Allouche-Benayoun (eds.). Dordrecht: Springer. 196 p.
- Raasch, J. (2012). Using History to Relate: How teenagers in Germany Use History to Orient between Nationalities. *History, Memory and Migration: Perceptions of the Past and the Politics of Incorporation* / by I. Glynn, J. Olaf Kleist (eds.). London: Palgrave MacMillan, 68–87.
- Rosenthal, G., Stephan, V., Radenbach, N. (2011). *Brüchige Zugehörigkeiten. Wie sich Familien von Russlanddeutschen ihre Geschichte erzählen*. Frankfurt am Main: Campus Verlag. 285 S.
- Shaw, R. (2010). *Afterword: Violence and the Generation of Memory. Remembering Violence. Anthropological Perspectives on Intergenerational Transmission* / eds. N. Argenti and K. Schramm. New York: Berghahn Books, 251–260.
- Strauss, A. (1959). *Mirrors and Masks: The Search for Identity*. Glencoe, Ill.: The Free Press, 1959. 186 p.
- Stremmelaar, A. (2017). *Between National and Global Memory. Commemoration of the Second World War in the Netherlands. In Holocaust Memory in a Globalizing World* / ed. by Jacob S. Eder, Philip Gassert and Alan E. Steinweis. Göttingen: Wallstein Verlag, 61–77.
- Üllen, S. (2012). Ambivalent Sites of Memories: The Meaning of Family Homes for Transnational Families. *Memories on the Move Experiencing Mobility, Rethinking the Past* / Monika Palmberger and Jelena Tošić (eds.). London: Palgrave MacMillan, 75–99.
- Urry, J. (1996). How societies Remember the Past. *Theorizing Museums: Representing Identity and Diversity in a Changing World* / Sharon MacDonald, Gordon Fyfe (eds.). Oxford/Cambridge: Blackwell, 45–65.
- Whine, M. (2013). Participation of European Muslim Organisations in Holocaust Commemorations. *Perceptions of the Holocaust in Europe and Muslim Communities: Sources, Comparisons and Educational Challenges* / G. Jikeli & J. Allouche-Benayoun (eds.). Dordrecht: Springer, 29–41.
- Wirth, C. (2015). *Memories of Belonging. Descendants of Italian Migrants to the United States 1884 — Present*. Leiden-Boston: Brill. 420 p.

#### Сведения об авторе

**Линченко Андрей Александрович**, кандидат философских наук, научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, г. Липецк, Российская Федерация

#### Information about the author

**Andrey A. Linchenko**, Cand. Sci. (Philosophy), Scientific Researcher at the Financial University, Lipetsk, Russian Federation

Статья поступила в редакцию 30.11.2021;  
одобрена после рецензирования 06.12.2021;  
принята к публикации 08.12.2021

The article was submitted 30.11.2021;  
approved after reviewing 06.12.2021;  
accepted for publication 08.12.2021

Научная статья

УДК 612.67 + 325.1(560:436) + 331.55 + 316.62 + 316.25

doi 10.15826/tetm.2021.2.010

## Реляционная амбивалентность: исследуя социальные и дискурсивные измерения амбивалентности

### Случай стареющих трудовых мигрантов из Турции\*

Моника Палмбергер<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Университет Вены, Вена, Австрия

<sup>2</sup>Университет Лёвена, Лёвен, Бельгия

monika.palmberger@univie.ac.at

**Аннотация.** Многие трудовые мигранты в Вене, прибывшие в Австрию в качестве так называемых гастарбайтеров вместе со своими супругами, лелеяли мечту вернуться в страну исхода, самое позднее после выхода на пенсию. К тому времени, однако, возвращение стало не столь очевидным, что вызывало неоднозначность в вопросах принадлежности/возвращения, транснациональной мобильности и ухода за пожилыми людьми. Основываясь на обширном материале данных, собранных качественными методами, в этой статье я показываю, что амбивалентность обнаруживается в сложности нарративов мигрантов, особенно в том, как они 1) переоценивают выбор в прошлом, 2) обсуждают чувства принадлежности и 3) оценивают будущие варианты в контексте старости и ухода за пожилыми людьми. Я утверждаю, что социальное измерение амбивалентности, которое я называю «реляционной амбивалентностью», имеет решающее значение для понимания опыта, размышлений и выбора трудовых мигрантов. Анализ показывает, что амбивалентность следует понимать как продукт взаимоотношений, а не только как индивидуальный опыт. Концепт реляционной амбивалентности охватывает эти социальные и дискурсивные измерения амбивалентности. Итогом статьи является выявление партикулярности амбивалентности как в общем контексте миграции, так и в конкретном контексте трудовых мигрантов Вены, принимая во внимание как чувства неоднозначности, так и одновременность различных, противоположных позиций в одном и том же человеке как проявления сущности человеческого опыта.

**Ключевые слова:** старение, амбивалентность, Австрия, принадлежность, дом, трудовая миграция, пожилые мигранты, реляционная амбивалентность, Турция, Вена

**Для цитирования:** Палмбергер М. Реляционная амбивалентность: исследуя социальные и дискурсивные измерения амбивалентности: Случай стареющих трудовых мигрантов из Турции // *Tempus et Memoria*. 2021. Т. 2, № 2. С. 17–34. <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.010>.

\* Впервые опубликовано: Palmberger, M. (2019). Relational ambivalence: Exploring the social and discursive dimensions of ambivalence — The case of Turkish aging labor migrants. *International Journal of Comparative Sociology*, 60(1–2), 74–90.

© Палмбергер М., 2021

## Relational Ambivalence: Exploring the Social and Discursive Dimensions of Ambivalence — The Case of Turkish Aging Labor Migrants

Monika Palmberger<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>University of Vienna, Vienna, Austria

<sup>2</sup>University of Leuven, Leuven, Belgium

monika.palmberger@univie.ac.at

**Abstract.** Many of Vienna's labor migrants who entered Austria as so-called "guest workers" together with their spouses long nurtured the dream of returning to their country of origin, at the latest when they retired. By then, however, returning became less than straightforward leading to ambivalence regarding questions of belonging/return and transnational mobility and late-life care. Based on rich qualitative data, in this article, I show that ambivalences are found in the complexity of migrants' narratives, particularly in the way they (1) reassess past choices, (2) negotiate feelings of belonging, and (3) assess future options for late life and care. I argue that the social dimension of ambivalence, which I term "relational ambivalence," is crucial to understanding the labor migrants' experiences, reflections, and choices. The analysis shows that ambivalence must be understood as a product of relationships rather than solely an individual experience. The concept of relational ambivalence captures these social and discursive dimensions of ambivalence. The article ultimately carves out the particularity of ambivalence in the general context of migration and in the specific context of Vienna's labor migrants, while accepting feelings of ambivalence or the simultaneity of different, opposing positions in one and the same person as a core human experience.

**Keywords:** Aging, ambivalence, Austria, belonging, home, labor migration, older migrants, relational ambivalence, Turkey, Vienna

**For citation:** Palmberger, M. (2021). Relyatsionnaya ambivalentnost': issleduya sotsial'nye i diskursivnye izmereniya ambivalentnosti: Sluchai stareyushchikh trudovykh migrantov iz Turtsii [Relational ambivalence: Exploring the social and discursive dimensions of ambivalence — The case of Turkish aging labor migrants]. *Tempus et Memoria*, 2, 2, 17–34. (In Russ.). <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.010>

### Введение

В то время как социальные исследования признают несоответствия и противоречия частью сложности человеческого мышления и практики, амбивалентность редко оказывается в центре внимания социальных наук. Имея это в виду, Дэвид Берлинер призывает к «науке о противоречии» и утверждает, что «пора вернуть амбивалентные утверждения, противоречивые отношения, несовместимые ценности и эмоциональные внутренние столкновения в качестве объектов исследования» [Berliner, 5–6]. Хотя миграционный контекст особенно склонен к возникновению чувства амбивалентности, как показано в этой статье, амбивалентность или

одновременность различных, противоположных позиций одного и того же человека необходимо признать ключевым человеческим опытом. Это означает, что, хотя определенные жизненные миры мигрантов «способствуют возникновению чувства двойственности» [Kivisto, La Vecchia-Mikkola, 214], такие чувства присущи не только им. Скорее они являются выражением сложности социальной жизни, которая полна незавершенности, противоречий и амбивалентностей [Jovanovic; Lambek].

В этой статье я анализирую рассказы стареющих турецких трудовых мигрантов в Вене и их конфронтации с неразрешимыми в их представлении жизненными решениями. Амбивалентность вышла на первый план в рассказах

турецких мигрантов первого поколения, которые раскрывают различные чувства, переживания и «голоса». Труд и лишения определили жизнь этих трудовых мигрантов, и именно на пенсии бывшие так называемые гастарбайтеры (Gastarbeiter) могут сделать паузу, чтобы задуматься о своей прошлой жизни и будущих перспективах. В этой статье я показываю, что амбивалентность проявляется в самой сложности нарративов мигрантов, особенно в том, как они 1) переоценивают выборы в прошлом, 2) обсуждают чувства принадлежности и 3) оценивают будущие варианты для ухода за собой в пожилом возрасте. Я утверждаю, что социальное измерение амбивалентности, которое я называю «реляционной амбивалентностью», имеет решающее значение для понимания опыта, размышлений и выбора трудовых мигрантов.

### Амбивалентность в фокусе исследования

В научных дебатах «амбивалентность» относится к различным состояниям и процессам. Во-первых, мы можем описать это как «одновременное и противоречивое отношение или чувства (такие как влечение и отталкивание) к объекту, человеку или действию». Во-вторых, мы можем описать это как «постоянные колебания (между одним и тем же предметом)» или как «неуверенность в том, какого подхода следует придерживаться»<sup>1</sup>. В этой статье амбивалентность также имеет несколько граней и чаще всего связана с переживанием/оценкой конкретной ситуации (прошлой и настоящей) или процесса принятия решений [Merton; Smelser]. Концепция «реляционной амбивалентности», которую я представляю в этой статье, подчеркивает реляционные и эмоциональные аспекты амбивалентности. Она показывает, как оцениваются отдельные ситуации и процессы принятия решений в разговоре с несколькими «голосами» (в особенности многоголосия членов семьи). Таким образом, амбивалентность понимается как реляционный опыт, который часто связан с сильными

(зависимыми от ситуации) эмоциями. В отличие от социологических исследований амбивалентности мигрантов, часто сосредоточенных на амбивалентности, возникающей из-за различных статусов и ролей, которые мигранты имеют в стране происхождения и в принимающей стране [Connidis, McMullin; Merton], это исследование выявляет амбивалентность как результат взаимоотношений мигрантов в кругу родных и друзей.

Социологи скептически относятся к включению понятия «амбивалентность» в свой исследовательский арсенал, потому что оно связано с областями психологии и психоанализа, где это явление изучалось как изолированный индивидуальный опыт, и поэтому уделяли слишком мало внимания изучению его культурных и социальных воплощений [Hillcoat-Nalletamby, Philipps, 202]. Все изменилось в контексте недавно появившейся области социологии эмоций, благодаря которой понятие амбивалентности наконец-то стало легитимным предметом исследования [Weigert]. Одним из полей, которое существенно извлекло пользу из этого «открытия», стало социологическое и антропологическое исследование родственных/семейных отношений, в котором феномен амбивалентности теперь занимает центральное место [Peletz, 426]. Причина, по которой амбивалентность и смешанные эмоции считаются столь важными в исследованиях родства/семьи, заключается в том, что родственные отношения тесно связаны с моральными обязанностями, ожиданиями и обязательствами. Как утверждает Пелец [Ibid., 434], «амбивалентность характерна практически для всех систем родства» вследствие «противоречивых структурных императивов, присущих таким системам (и всем другим институтам), что-то вроде предписывающей дружбы или «диффузной, длительной солидарности». Таким образом, смешанные эмоции часто характеризуют личные связи и, вероятно, постоянно обсуждаются на протяжении всей жизни [Connidis, McMullin].

Новые исследования родства включают критический анализ власти, свободы воли и социальности, особое внимание уделено гендерным отношениям. Здесь особенно важна работа Арли Хохшильда [Hochschild 1997] о «трудовых эмоциях», поскольку она

<sup>1</sup> Merriam-Webster's dictionary, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/ambivalence>

проливает свет на политические, культурные и экономические контексты амбивалентности [Hochschild 1997, 210]. Хохшильд [Hochschild 1983] показывает, что «чем глубже личная связь, тем больше эмоциональной работы происходит и тем больше мы не осознаем ее» [Ibid., 68]. Она также показывает, как эмоциональная работа может быть связана с амбивалентными чувствами и что существуют культурные различия, которые определяют, какие из них приемлемы, могут быть выражены, а какие нет. Поскольку в своей статье я не занимаюсь напрямую смешанными эмоциями, которые могут характеризовать сильные эмоциональные связи, амбивалентные чувства обсуждаются как социальные и межличностные переживания, которые заставляют людей рассматривать разные точки зрения и эмоциональные позиции близких членов семьи при переосмыслении прошлого и выборе будущего.

Однако в социологической дискуссии амбивалентность выходит за рамки семейно-родственных отношений, а также обсуждается как феномен, характеризующий переход современности к постмодерну или, как иногда его называют, «поздней современности» [Bauman; Giddens; Smart]. В этих социологических дискуссиях амбивалентность характеризует общественное не в последнюю очередь из-за увеличения социальной фрагментации и ослабления общественных ролей. Это неразрывно связано с фрагментацией жизни и трудностей в предвидении своего жизненного пути из-за социальной незащищенности, коротких трудовых контрактов, потребности в повышенной мобильности и необходимости «заново изобретать» себя. В этом отношении мигранты сталкиваются с особой проблемой. В представленной здесь работе я анализирую амбивалентности как индивидуальный опыт в рамках их конкретного семейного контекста, а также как встроенные в более широкие социальные отношения и конкретные культурные и исторические контексты.

Когда участники моего исследования (пере)оценивали прошлый выбор и размышляли о своей нынешней жизни и будущих возможностях, делали они это в процессе обмена мнениями с другими членами семьи, чьи эмоционально информированные позиции принимались во внимание. Реляционная

амбивалентность, которую я обсуждаю в этой статье, в значительной степени наполняется эмоциями, эмоциями говорящих, а также эмоциями, выражаемыми их близкими. Я иду по пути исследователей, которые утверждают, что эмоции — это не сугубо личное дело, но они также передаются другим людям и разделяются ими [Abu-Lughod, Lutz; Vossagni, Baldassar; Leavitt]. Более того, эмоции здесь понимаются не как противоположность разуму, а как центральные для него и поэтому имеют решающее значение в любом процессе принятия решений. Мы должны помнить, что без эмоций социальная жизнь, включая нашу способность принимать решения и нашу способность делать осознанный выбор среди множества вариантов, была бы невозможна [Williams, 150]. Это также означает, что эмоции (выражаемые и разделяемые с другими) понимаются не как внутреннее состояние, а как часть социальной жизни. Поэтому в этой работе основное внимание уделяется социальному измерению эмоций, не отрицая силы эмоций как субъективных переживаний [Abu-Lughod, Lutz].

Не только эмоции, но и само понятие амбивалентности было раскрыто в нашем исследовании как социальное по своей природе. Исследуя амбивалентность в контексте старости и семейной солидарности, Хиллкоут-Наллетамби и Филиппс [Hillcoat-Nalletamby, Philipps] утверждают, что «амбивалентность не может быть сведена к индивидуальному опыту, отделенному от более широкой сети взаимозависимых социальных отношений, к которой он принадлежит, и социальной среде, в которую он встроен» [Ibid., 212]. Такой реляционный подход также добавляет к амбивалентности временное и трансформирующее измерение и позиционирует себя на стыке индивидуального опыта и групповой принадлежности [Ibid., 214].

Хотя вначале амбивалентность не была в центре внимания моих исследований, она стала ключевой категорией во время индуктивного анализа. Киранс и Белл [Kierans, Bell] предлагают «развивать аналитику амбивалентности» и сосредоточить внимание на амбивалентности как методологической эвристике. Я согласна с ними, когда они утверждают, что «амбивалентность по определению представляет собой важный методологический парадокс.

Хотя она выдвигает на первый план поляризованные позиции, их очевидная ясность мало помогает справиться со сложностями данной социальной ситуации, сложностями, которые можно понять только тогда, когда мы сопротивляемся выбору между позициями, которые стремятся их отрицать» [Hillcoat-Nalletambu, Philipps, 36].

Это также означает, как утверждают Киранс и Белл [Kierans, Bell], что мы должны признать, что «вещи не всегда ясны», чтобы «объяснять явления» в нашем анализе.

В моем исследовании амбивалентность стала категорией, способствующей лучшему и более глубокому пониманию рассказов, которыми со мной поделились стареющие трудовые мигранты, поскольку двойственность выражает нечто большее, чем простые противоречия. Во-первых, мои собеседники не выражали противоречивых взглядов или чувств, но выраженная ими амбивалентность скорее была вызвана многоголосицей разных точек зрения, которые они рассматривали по конкретному предмету, и взглядами разных членов семьи, которые они учитывали. Эта «амбивалентность отношений», с которой я столкнулась в рассказах стареющих турецких трудовых мигрантов, часто имела неявный характер. Это означает, что если в рассказах, которыми они поделились со мной, возникли противоречия, то они не были представлены как противоречия. Таким образом, амбивалентность была ближе к нерешительности или принятию различных точек зрения/позиций, чем к противоречию как таковому. Даже если в наше время растущей плюралистической сложности нерешительность, выраженную отдельными людьми, легко заклеить как недостаток, слабое эго, есть веские причины интерпретировать это иначе. Вейгерт [Weigert], например, предполагает, что «амбивалентность также можно интерпретировать по-разному, как уверенность в противостоянии обеим сторонам проблемы; способность взвесить альтернативные точки зрения и дать каждой из них свою возможность; и силу признать, что не существует морально определенной линии действий» [Ibid., 22].

Иногда амбивалентность в рассказах моих собеседников также выражалась в форме отсрочки вынесения суждения или решения. Амбивалентность также отличается

от неоднозначности, особенно когда мы понимаем последнюю как более когнитивный (чем эмоциональный) феномен [Peletz, 415]. Тем не менее, как я покажу, нерешительность и принятие неразрешимых жизненных решений не ставили людей в пассивное положение, но в конечном итоге оказались формой свободы воли.

## Контекстуализация исследования и методы

Тема «старение и миграция» становится важным исследовательским полем только в начале 2000-х гг. [Hromadzic, Palmberger]. Одним из основных направлений этого исследовательского поля является изучение мигрантов, стареющих в стране, отличной от страны их происхождения. В Европе это в основном касается бывших трудовых мигрантов из Южной и Юго-Восточной Европы, стран Северной и Западной Европы, таких как Австрия [Ciubanu, Nedelcu; Karl, Torres; Palmberger, Hromadzic].

Австрия и Турция подписали первые договоры о гостевых работниках в 1964 г. Примерно из 265 тыс. человек, нанятых Австрией в качестве гостевых работников (гораздо больше въехало в страну через другие каналы) в период с 1961 по 1973 г., около двух третей были из Югославии и около одной трети — из Турции. Значительное количество этих гастарбайтеров осталось в Австрии, а за ними последовали члены их семей [Reinprecht; Von Lorber]. Когда мигранты въехали в Австрию в качестве гостевых работников, им были предоставлены ограниченные разрешения на работу и проживание и только временное и нестандартное жилье, им также не было предложено никаких мер интеграции (например, языковые курсы). Австрия нанимала в основном неквалифицированных рабочих для строительной отрасли, но также и для других секторов, включая текстильную и бумажную промышленность, а также для туристического бизнеса. Как столичный город, Вена привлекала большинство так называемых гастарбайтеров и, таким образом, предлагала особые структуры возможностей, включая относительно большое количество ассоциаций мигрантов и мечетей [Palmberger 2016].

Эти трудовые мигранты, мужчины и женщины, внесли значительный вклад не только в экономический успех Австрии после Второй мировой войны, но и в диверсификацию городского пейзажа Вены. Во многих районах города это проявляется в постоянно увеличивающемся количестве магазинов, продуктовых лавок, парикмахерских, кафе, ресторанов и т. д., принадлежащих мигрантам, предлагающих широкий спектр товаров и услуг. Глик Шиллер и Каглар [Glick Schiller, Caglar] справедливо утверждают, что пора «признать мигрантов активными участниками реконструкции городской жизни» [Ibid., 196]. Трудовые мигранты из бывшей Югославии и Турции стали важной движущей силой этой городской реконструкции — факт, который редко признается.

Плохие условия труда и связанные с этим проблемы со здоровьем вынудили многих бывших гостевых работников добиваться досрочного выхода на пенсию [Reinprecht]. В связи с этим в данной статье обсуждаются мигранты 55 лет и старше. Все они по-прежнему могли выполнять повседневные обязанности и не нуждались в уходе. Мои собеседники (или их супруги) недавно вышли на пенсию или пытались выйти. Таким образом, они достигли определенного этапа в своей жизни, когда более или менее добровольно уходили от трудовой жизни. Поэтому точный возраст менее важен для этого исследования, чем стадия жизни, на которой находятся люди [Cohen; Keith]. Помимо того что у моих участников была одна и та же когорта и история миграции, у участников исследования были такие общие социально-экономические характеристики, как низкий уровень образования, низкий доход/пенсия и чаще всего сельское происхождение.

Эти турецкие мигранты в первом поколении приехали в Австрию в качестве гастарбайтеров или в качестве их супругов. Большинство турецких участников моего исследования мужского пола приехали в Австрию в качестве трудовых мигрантов в 1960-х и 1970-х гг. и работали неквалифицированными рабочими в Австрии в тяжелых условиях. Их жены и дети часто следовали за ними на более позднем этапе. Большинство женщин — участниц моего исследования принадлежали к этой группе людей, приехавших в Австрию в контексте воссоединения семей. Некоторые

из женщин-мигрантов, с которыми я беседовала, работали в сфере уборки и общественного питания после их прибытия, две женщины работали в качестве домработниц, а остальные вообще не выходили на рынок труда.

Хотя семейный контекст различался, все участники моего исследования были женаты (один овдовел) и имели детей, а в большинстве случаев также внуков. Большинство детей и все внуки родились в Австрии. У всех участников моего исследования были близкие родственники в Австрии, а это значит, что у них были по крайней мере супруг или дети в Вене. Более половины участников моего исследования были гражданами Австрии, среди которых оказалось больше мужчин, чем женщин. Для тех, кто не являлся гражданином, в наши дни необходимо было пройти бюрократические процедуры и особенно экзамен по немецкому языку как условие получения австрийского гражданства, ставшее непреодолимым препятствием.

Как уже отмечалось, многие участники моего исследования имели только общее среднее образование. Самым высоким уровнем законченного образования среди мужчин, с которыми я беседовала, было профессионально-техническое образование или его эквивалент, но многие окончили только начальную школу, а иногда и несколько классов средней школы. Опрошенные женщины, как правило, имели более низкий уровень образования, и многие из них посещали несколько лет только начальную школу, некоторые вообще не имели школьного образования.

Хотя уровень владения немецким языком был разным, мужчины, с которыми я разговаривала, как правило, говорили по-немецки лучше, чем женщины. Это связано с тем, что мужчины более полно интегрировались в трудовую жизнь и, таким образом, чаще, чем женщины, сталкивались с немецким языком. Многие из моих собеседников, особенно женщины, рассказывали, как сильно они сожалеют о том, что не имели возможности изучать немецкий. Они говорили, что если бы можно было вернуться к тому моменту, когда они приехали в Австрию, они бы сосредоточили свои силы на изучении немецкого языка, а некоторые из тех, кто не работал, добавили, что они будут искать работу, если будет второй шанс.

В этой статье обсуждается исследование, основанное на более широком этнографическом материале, в котором изучаются социальные отношения и идеи транснационального старения, ухода за пожилыми мигрантами из Турции и из бывшей Югославии в Вене. Особая часть исследования турецких трудовых мигрантов, которое я представляю здесь, в первую очередь основана на 28 полуструктурированных нарративных интервью, проведенных в период с 2013 по 2016 г. с 25 респондентами (каждое продолжительностью от 45 минут до 2 часов) и далее дополненных в ходе неформальных интервью (30), экспертных интервью (11) и наблюдения за участниками. Гендерное деление из 25 турецких мигрантов, с которыми я проводила глубинные интервью, было почти одинаковым: 13 женщин и 12 мужчин. Я задавала вопросы, которые приглашали проанализировать их текущую жизнь, связав ее с прошлыми чертами характера и будущими устремлениями. Таким образом, интервью дают представление о решениях в прошлом, текущих жизненных стратегиях и заботах, а также о надеждах и страхах в отношении будущего.

После первого интервью я оставалась в контакте с несколькими моими собеседниками. Я была гостем в их домах, где встречалась и разговаривала с другими членами семьи, включая супругов, детей и внуков. С тремя из этих ключевых участников исследования я провела второй раунд интервью через 1–2 года после первого. Это дало мне возможность углубиться в избранные темы и узнать, как с момента первого собеседования были приняты определенные решения на более поздних этапах жизни.

Я установила контакты с респондентами лично или через различные турецкие культурные, религиозные и политические ассоциации. Два моих научных сотрудника имели турецкие корни и сыграли большую роль в инициировании первых контактов. Для более широкого исследования было важно, чтобы мои собеседники различались по своим политическим/этническим/религиозным позициям, а различное семейное происхождение и жизненные контексты двух моих ассистентов-исследователей позволили установить контакт с практикующими суннитами, мусульманами-алевитами, а также атеистами.

Я проводила интервью либо в домах респондентов, либо в одной из ассоциаций мигрантов, членами которой они являлись. Интервью проводились на языке, который предпочитали собеседники, — либо на немецком, либо на турецком, который использовался для записи и транскрибирования, для хранения интервью и анализа. Те интервью, которые были на турецком языке, проводились вместе с моими научными сотрудниками и были полностью переведены. Все цитаты из интервью в этой статье — английский перевод. Я проанализировала интервью путем кодирования и раскрытия категорий в соответствии с ранее обоснованной теорией [Kelle; Palmberger, Gingrich].

### **Трудовые мигранты после завершения трудовой карьеры: переоценивая выборы в прошлом**

Рассказы, которыми люди поделились со мной, это отдельные рассказы, но также и рассказы о трудовой миграции в Европе в 1960-х и 1970-х гг., в период восстановления и экономического подъема после Второй мировой войны. Большинство трудовых мигрантов и их супругов, с которыми я разговаривала, мигрировали потому, что нуждались в работе, и/или потому, что ожидали, что работа в Австрии будет приносить больше денег и гарантировать их семье некоторые возможности продвижения в обществе. Они верили, что этот шаг позволит им обеспечить лучшее будущее для своих детей и лучшее образование, ведущее к квалифицированной работе. При этом они испытали множество лишений, в том числе плохие жилищные условия. В основном они приехали из сельской Турции, где у них были свои дома, но в Вене им приходилось жить в небольших квартирах, не соответствующих стандарту, часто без водопровода внутри и только с общественными санитарными узлами снаружи, на общих лестничных клетках.

Дети трудовых мигрантов, второе поколение, ценили жертвы, на которые пошли их родители, но в то же время осознавали, что качество жизни и здоровье их родителей пострадали чрезвычайно; в этом контексте они часто использовали фразу *kaputt arbeiten*

(усердно зарабатывать на жизнь). Кроме того, на них сильно давили ожидания родителей.

С целью добиться лучшего будущего для своих детей (и внуков), а также восходящей социальной мобильности после выхода на пенсию стареющие трудовые мигранты пересматривали свое мнение о том, была ли иммиграция в Австрию правильным решением. Некоторые смогли подвести итоги по поводу того, насколько успешными стали их дети, как они получили высшее образование и respectable работу. Так было с Орханом, который работал художником в Вене более 25 лет и недавно вышел на пенсию: «Мне сложно сказать... конечно, приехать сюда было правильным решением; я приехал простым маляром. И, может быть, тогда я не мог и мечтать отправить дочь в Венский университет. Чтобы маляр мог отправить свою дочь в Венский университет!.. В конце концов, это может сделать только миллиардер в Турции, да?.. Мне нравится эта страна, у меня нет здесь проблем. У меня проблема только с ее политиками...»

Как стало очевидно позже, в интервью, которое я более подробно опишу ниже, несмотря на возможности, которые Орхан мог дать своим детям в Австрии и за которые он очень благодарен, ведь они получили хорошее образование, он амбивалентно относился к Австрии и чувствовал, что он не принадлежит ей полностью или, точнее, что ему не предоставлено полное гражданство. Орхан сказал мне: «Нам дают австрийские паспорта, но во время выборов вы сталкиваетесь с плакатами расистских партий; они используют оскорбительные слова для антитурецкой пропаганды».

В отличие от детей Орхана многие дети других трудовых мигрантов испытывали трудности в школе и при интеграции в австрийский рынок труда. Трудности, связанные с перемещением детей в новое место, где никто не говорит на их языке, и предоставление им хорошего образования и перспектив были центральными для многих интервьюированных, когда те переоценивали свой выбор в прошлом. Далее я проиллюстрирую рассказом Бахар, как решение об эмиграции критически отражается на людях и вызывает амбивалентные чувства в позднем возрасте. Я была у Бахар несколько раз, проведя два нарративных интервью с ней в ее доме, где у меня также была возможность

встретиться и поговорить с ее мужем и двумя ее детьми, а также встретиться с тремя внуками. В ее рассказе расхождения между идеей достижения лучшей жизни в Вене со всеми ее обещаниями и тяжелой жизнью, которую Бахар и особенно ее дети пережили однажды в Вене, являются наиболее заметными и вызывают ее амбивалентное отношение к Австрии.

Сомнение Бахар в том, что решение приехать в Вену было правильным, в большей степени вызвано ее разочарованием по поводу неадекватного образования, полученного ее детьми в Австрии; она считает, что ее дети, особенно двое старших (которым было уже 10 и 11 лет, когда они переехали в Австрию), получили бы лучшее образование, если бы остались в Турции. Отец Бахар привез ее во время первого года обучения в начальной школе, и ее сердце всегда было полно желания гарантировать хорошее образование своим потомкам, чего ей самой никогда не удавалось получить, даже если она очень этого хотела. Действительно, двое старших детей в конечном итоге были отправлены в специальную школу (Sonderschule) — обычная практика, затрагивающая многих детей гастарбайтеров из-за плохого знания немецкого языка у них (и их родителей). По этим причинам она не уверена, было ли правильным решение поехать вместе с мужем в Вену с детьми: «Если бы я осталась в Турции, мои дети получили бы лучшее образование; они бы вышли на более высокий уровень... Мои дети были умными; в особенности моя дочь была очень умной... она стала парикмахером, но легко могла стать врачом; она была очень умным ребенком! Оглядываясь назад, я думаю, что было бы лучше, если бы мой муж приехал в Вену один, а я осталась бы с детьми в Турции и они получили там свое образование... Это только потому, что те (турецкие трудовые мигранты), которые вернулись, всегда хвастались (об их жизни в Вене), поэтому мы подумали, что это что-то особенное».

Эта цитата ясно показывает, насколько были высоки ожидания и мечты о лучшем будущем среди трудовых мигрантов, ожидания, питаемые теми, кто уже жил в Австрии, и распространявшимися по возвращении «миф о процветании». Бахар переехала из дома в сельской Турции в однокомнатную квартиру в Вене без водопровода, с туалетом на улице, и первые

годы после приезда она описывает как особенно обременительные. Все было не таким удобным, как она ожидала, но она надеялась, что в конечном итоге добьется успеха. К тому времени, когда Бахар осознала, что это миф и тоска, которые никогда не будут удовлетворены, было уже слишком поздно, и Бахар очень трудно это принять. Тот факт, что она считает себя главным человеком, ответственным за благополучие детей, делает особенно болезненным осознание того, что Австрия не выполнила то, что казалось обещанным, особенно в отношении продвижения в обществе.

В нескольких моментах, когда Бахар оценивала свое прошлое решение переехать в Вену и когда она говорила о невозможности покинуть город, ее рассказ переходил в форму внутреннего диалога. Казалось, что ее слова адресованы больше не мне, интервьюеру, а скорее ей самой. Это усилило впечатление, что напряженность в отношении прошлых выборов присутствовала для Бахар не только тогда, когда она высказывалась во время собеседования, но и что это беспокоит ее в течение некоторого времени.

Двойственное отношение Бахар к Австрии подпитывается отсутствием (образовательных) возможностей, которые в этой стране получили ее дети. Это конкретное разочарование контрастирует с ее положительным отношением к Австрии, о чем я расскажу более подробно в следующем разделе. Для Орхана, дети которого получили высшее образование, ситуация иная. Как было показано, его амбивалентность по отношению к Австрии проистекает, с одной стороны, из хороших возможностей, которые она предоставила его детям, а с другой — из политических событий, которые он оценивает критически, и растущей ксенофобии/исламофобии, с которой он сталкивается.

Завершая этот раздел, мы можем сказать, что двойственность, которую испытывали участники моего исследования при переоценке выбора в прошлом, была тесно связана с их жизнью, включая возможности и проблемы членов семьи. Двойственные чувства Бахар по поводу ее решения переехать в Вену возникают из-за того, что ее дети подвергались дискриминации в школьной системе Австрии, и они часто затмевают ее хорошие воспоминания о прошлых временах, проведенных в Вене.

Для Орхана также решение переехать в Вену является неоднозначным по другим причинам. Хотя он считает образовательные и профессиональные достижения своих детей большим успехом, его личный опыт жизни в Австрии более чем далек от положительного. Хотя переживания Бахар и Орхана сильно различаются, оба принимают во внимание опыт других членов семьи при оценке выбора в прошлом. Социальное измерение амбивалентности выходит на первый план, и это та самая реляционная амбивалентность, с которой мы сталкиваемся здесь.

### **Обсуждая дом и принадлежность: амбивалентная ностальгия**

Амбивалентность также вышла на первый план при обсуждении актуальных чувств дома и принадлежности. Фаза выхода на пенсию стала важным периодом в жизни участников моего исследования, когда они не только переоценивают прошлое, но и задумываются над вопросами принадлежности. Это было важное время для мужчин, которые в большинстве случаев обеспечивали семью основным доходом, а также для женщин, даже если многие из них не были интегрированы в австрийский рынок труда или работали только неполный рабочий день. Независимо от статуса занятости, жизнь для них также изменилась, когда их мужья вышли на пенсию, а их дети уехали. Процесс принятия решений моими собеседниками, особенно в отношении того, где провести закат жизни, редко был легким и прямым, но чаще всего характеризовался двойственными чувствами, о чем я расскажу более подробно в разделе, посвященном уходу за пожилыми людьми.

Дом для участников моего исследования имел множество значений и не был фиксированной категорией, а скорее был свободен для обсуждения [Bilecen; Ehrkamp; Uehling; Wong]. В то время как чувство дома по отношению к Турции было тесно связано с тем, что она является местом происхождения, детства и социализации, они воспринимали Вену как дом, в основном из-за нынешних социальных отношений, и как место, где протекала их семейная жизнь, где ежедневно — дружеские

отношения и общественная жизнь [Palmberger 2018]. Как отмечают другие авторы [Bolzman, Kaeser, Christie; Ganga], элитные мигранты не имеют права претендовать на обе страны как на свои и делить свое время между ними. Ганга [Ganga] описывает аналогичную ситуацию постоянного перемещения между двумя странами для итальянских трудовых мигрантов в Соединенном Королевстве и то, как они «свободно перемещаются в пространствах, которые, по их мнению, принадлежат им. Фактически, независимо от того, чувствуют они себя полностью интегрированными или нет, они колеблются между двумя обществами, будучи членами обоих» [Ganga, 1406; Vossagni 2012; Vossagni 2017].

Преыдушие исследования, посвященные стареющим мигрантам, и в частности турецким трудовым мигрантам в Европе, выявили транснациональный аспект их жизни, характеризующийся многократным или «изменяющимся» местом жительства [Baykara-Krumme]. Даже те, чье основное место жительства находится в европейской стране назначения, поддерживают прочные транснациональные связи. Жизнь в двух странах происходит не только посредством регулярных поездок на работу, но также представляет собой гораздо более сложный процесс налаживания транснациональных связей. Это включает в себя то, что Билесен и его коллеги [Bilecen, Catir, Orhon] называют «сшиванием»: «процесс, в котором мигранты в принимающей стране постоянно продолжают быть связанными со страной исхода» [Ibid., 254]. Таким образом, идентичность мигрантов «противоречит устоявшимся представлениям о принадлежности» [Dwyer, 475]. Йео и Хуанг [Yeoh, Huang] обсуждают этот феномен как постоянное маневрирование с целью воссоединения и разъединения с домом, а Вертовек [Vertovec] — как двойную ориентацию или «бифокальность» (bifocality). Хотя большинство моих собеседников поддерживали тесные отношения с обеими странами и находили для себя транснациональные пространства, решение о том, какую страну выбрать в качестве основного места жительства после выхода на пенсию, не всегда было легким, о чем свидетельствует случай с Ахметом. Когда я спросила Ахмета о том, где он и его жена планируют провести последние годы жизни, он ответил:

«Это большой вопрос... в основном здесь, а не в Турции... Например, на следующей неделе мы едем в отпуск максимум на два с половиной месяца, но потом вернемся. Это прискорбно... Вот там [в Турции] — моя страна, но моя жизнь была здесь [в Вене], вот почему. Более того, мои дети здесь... Через три месяца у нас два больших религиозных праздника, поэтому мы должны быть с нашими детьми...»

Ответ Ахмета свидетельствует о двойственном отношении к принадлежности. Утверждение «там [в Турции] — моя страна, но моя жизнь была здесь [в Вене]» особенно показательна. Это означает, что место, где Ахмет прожил большую часть своей жизни, не стало «его страной». Тем не менее для него нет варианта «или/или». Обе страны стали для него значимыми, хотя и в силу разных причин: Вена — потому, что это место, где он и его жена провели большую часть своей жизни, где родились их дети и которую они теперь называют своей страной; Турция — потому, что это место, где Ахмет вырос и социализировался, и потому, что она с тех пор остается его эмоциональным домом. Можно также сказать, что дом разделен на «место происхождения» и «дом как чувственный мир повседневного опыта» [Ahmed].

Те, кто выбрал проживание в двух странах, часто говорили, что они постоянно скучают по дому, потому что они всегда скучают по одному из своих домов, будь то Австрия или Турция. Как сказала одна из участниц моего исследования, «когда мы здесь, в Вене, мы очень скучаем по Турции, но когда мы летом в Турции, нам очень не хватает Австрии!». Они выражали такое чувство дома и принадлежности не только по отношению к современной Австрии и Турции, но и к третьему дому, расположенному в прошлом. Однако этот, третий и темпоральный дом, расположенный в прошлом, не всегда имел четкие географические границы, и часто было неочевидно, с чем соотносилось упоминаемое прошлое — с Турцией или Австрией. Прошлое прежде всего сопоставлялось с жизнью в настоящем: прошлый дом характеризовался, например, «доверием» и «моральным порядком», в отличие от настоящего, характеризуемого «недоверием» и «моральным упадком».

Возвращаясь к рассказу Бахар, в котором она выразила глубокое сожаление по поводу

решения переехать в Вену, мы все еще можем найти положительные и ностальгические представления о городе. Вне зависимости от трудных времен, которые пережила Бахар, и негативных встреч ее детей со школой временами ее рассказ о прошлой жизни переходил от невзгод к рассказу о ностальгии, и она даже со вздохом сказала: «Я хочу, чтобы старые добрые времена вернулись», имея в виду хорошие времена, которые она провела в Вене. Это стало большим сюрпризом, учитывая подробное описание невзгод, о которых она рассказала мне, описывая приезд ее и детей в Вену. Этот сдвиг произошел в основном, когда она выразительно сравнивала настоящее с прошлой Веной и свое настоящее с ее прошлой жизнью. Она с любовью вспоминает прошлое в Вене, когда ее дети были маленькими, она была в хорошем состоянии/в хорошей форме и провела много счастливых часов с соседями и их детьми в близлежащих парках. Эти снимки хорошей жизни в Вене прерывались и контрастировали с ее размышлениями о том, что она ретроспективно видела как свое прискорбное решение переехать с детьми в Вену. Другой раз, когда Бахар положительно отзывалась о Вене, она сравнивала нынешнюю Вену с той, какой она была раньше. Нынешняя Вена стала грязным и небезопасным местом: «Ну, это не так, как раньше. Когда мы приехали, это было действительно... Я имею в виду, что все было так чисто, улицы были такими чистыми. Мы вышли и вернулись домой поздно вечером, в час или два часа ночи, и с нами ничего не случилось, ни одного инцидента. Было так чисто, и там было еще не так много разных людей [мигрантов разных национальностей], только югославы и турки, и их было немного, когда мы приехали. Но сейчас Вена действительно изменилась в худшую сторону».

Такие ностальгические беседы о прошлой Вене, относительно ее нынешней жизни и более широкой социальной ситуации, включая рост числа новоприбывших, повторялись несколько раз во время двух интервью и других бесед, которые у меня были с ней. Бахар не пыталась объяснить мне эту двойственность; скорее два ее рассказа — о невзгодах и разочарованиях, а также о хороших временах, которые она провела со своими детьми в Вене, гостеприимство которой испытала, — мирно сосуществовали.

Я предлагаю здесь говорить об амбивалентной ностальгии [Hirsch, Spitzer]. Как показывают М. Хирш и Л. Спитцер, конфликтующие воспоминания могут сосуществовать без примирения [Ibid., 260], то есть положительные ностальгические чувства и отрицательные, как в случае с Бахар, не воспринимаются как противоречащие друг другу, а просто сосуществуют. Здесь амбивалентные чувства не воспринимаются как противоречия, а представляют собой две позиции, которые занимает один и тот же человек, не подвергая сомнению их несовместимость.

В этом отношении амбивалентность выходит на первый план в феномене ностальгии — особенно ностальгии по потерянному дому. Иногда это был старый дом в Турции, где каждый вырос, дом, которого больше не существует в том виде, в каком его помнят, не в последнюю очередь потому, что за это время изменились социальные отношения. Иногда ностальгия была связана с Веной в прошлом. Однако иногда потерянный дом не был географически привязан, а просто представлял собой безопасное место, где (все еще) преобладал моральный порядок. В этих случаях ностальгические чувства, направленные на Турцию или Австрию или на географически неопределенное место в прошлом, часто представляли собой критику современной жизни, а иногда также ограниченные перспективы на будущее [Boyer; Palmberger 2008; Palmberger 2016]. В частности, мужчины отмечали сильные различия между своей прошлой и настоящей жизнью в Австрии. Когда они впервые приехали в Австрию, их приглашали как ценных трудовых мигрантов, однако с возрастом они сталкивались со все возрастающей дискриминацией, и не только на рабочем месте. В конце карьеры и после выхода на пенсию они чувствуют, что большинство населения все чаще воспринимает их в первую очередь как *Ausländer* (иностранцев), и тот факт, что они много работали, а также платили налоги, тем самым способствуя экономическому успеху Австрии, больше не ценится. Они часто отделяют самих себя от новоприбывших «иностранцев». Они связывали испытываемую ими враждебность с доминирующими дискурсами исламофобии в Австрии, а также с антииммигрантским негодованием и дискриминацией, включая оскорбительные заявления прохожих, пассажиров

общественного транспорта, которые отказались позволить им сесть рядом с ними, или дискриминацию со стороны полиции.

### Оценивая перспективы преклонного возраста и заботы о пожилых

После выхода на пенсию и когда дети переехали из родительского дома, впервые появилась возможность рассмотреть вопрос о возвращении в Турцию. Именно тогда они поменяли позитивные аспекты жизни в Вене на негативные. Приближаясь к пенсионному возрасту или недавно выйдя на пенсию, некоторые размышляли, стоит ли снова выбрать Турцию в качестве основного места жительства.

Мысли о том, оставить ли им основным местом жительства Австрию или вернуться в Турцию, необязательно были связаны с вопросами о том, что в их сознании присутствует «зов дома», потому что, как описано выше, часто оба места имеют «домашний статус», хотя и с разным качеством. Вопрос скорее в том, как разделить время между Турцией и Австрией и соответственно какую из двух стран выбрать в качестве своего основного места жительства. Здесь необходимо учитывать структурные ограничения. Некоторые из опрошенных мною людей не имели работы и/или подавали заявления о досрочном выходе на пенсию из-за проблем со здоровьем. Положение безработного (и еще не обеспеченная пенсия) сильно ограничивает их мобильность. Но также и пенсионеры, имеющие право на небольшую пенсию, получают выплаты только тогда, когда они остаются в Австрии, они могут проводить максимум восемь недель в году в другой стране. Это сильно противоречит их желанию проводить большую часть года в Турции на пенсии. Предпочтения в отношении мобильности были центральными для их понимания старости, приносящей удовольствия, но также были значительно ограничены существующими режимами мобильности [Glick Schiller, Salazar].

Что касается вопроса о том, где провести поздний период жизни, следует сказать, что на первый план выходят значительные гендерные различия, причем мужчины и женщины различаются по своим предпочтениям.

Противоречивые идеи и мечты между парами часто возникают при подготовке к преклонному возрасту. Орхан, которого я представила выше, испытывает аналогичный с Ахметом конфликт, когда дело касается его ощущений дома и того, где провести остаток жизни по сравнению с его женой и детьми: «Если вы спросите меня о доме, честно говоря, я должен вам сказать, что это Турция. Но я здесь уже 35 лет, и даже моя жена родилась здесь. И поэтому мы должны оставаться здесь. У меня двое детей. Один по образованию психолог, другой изучает туризм. Мы не можем уехать из Австрии... Можно сказать, наша первая страна — Австрия, а вторая — Турция. Но когда вы спрашиваете меня о моей родной стране, это Турция, это никогда не будет Австрия. Но когда вы спросите мою жену, она скажет, что Австрия — ее родная страна. Я просто спросил сына, хочет ли он поехать со мной в Турцию, так как у нас там есть недвижимость. Я спросил его, не хочет ли он открыть там отель, и он сказал: “Нет, папа, я не могу там жить, я живу в Австрии”».

Хотя Орхан сам не сомневается в том, где он хочет провести оставшуюся жизнь, его чувства резко противоречат чувствам других близких членов его семьи, что вызывает определенное напряжение в их отношениях и в их видении общего будущего. Случай Орхана необычен, поскольку в Вене родились не только его дети, но и его жена, родители которой эмигрировали из Турции в Вену незадолго до ее рождения. Для Орхана, как и для других, в конечном итоге решение о том, как разделить время между Турцией и Австрией, принимается в диалоге с супругами и детьми. В интервью это иногда является явным, а иногда принимает форму внутреннего диалога, в котором проявляется амбивалентность отношений и представлены позиции других членов семьи.

Даже если женщины выражали амбивалентные чувства к Вене, как указано выше, они все же предпочитали проводить большую часть своей поздней жизни со своими детьми и внуками там. Но в то же время они хотели регулярно ездить в Турцию, если будут физически в состоянии, или по крайней мере длительно пребывать (до пары месяцев в году) в Турции, предпочтительно в летнее время. Вена стала местом, где у них были самые сильные сети социальных связей не только с членами семьи,

но и с друзьями, а иногда и с соседями. В Турции они не были длительно интегрированы в повседневную социальную деятельность и сети связей, как объяснила мне Алеви, одна из участниц моего исследования: «Мне нравится здесь [Австрия] и там [Турция]. Мне здесь нравится, здесь я хожу в мечеть, я общаюсь. Там, в Турции, каждый занят своей жизнью... Здесь, в [Австрии], я чувствую себя как дома».

Важнейшей причиной чувствовать себя в Вене как дома, о которой говорили мои собеседницы, было то, что в этом месте жили их дети и внуки. Как отмечали другие ученые, среди женщин с миграционным прошлым [Baldassar, Gabaccia; Ganga; Maynard et al.; Zontini] турецкие женщины, трудовые мигранты, также считали важным для качества своей жизни оставаться тесно связанными, в том числе географически, с детьми и внуками. Это, однако, не означает, что они время от времени тайно не желали, чтобы их освободили от роли основного лица, обеспечивающего уход за семьей. Например, Бахар с гордостью представила себя человеком в семье, с которым все делились своими заботами, и она считала своей обязанностью помогать всем. Однако временами она воспринимала эту роль как бремя, от которого хотела избавиться, по крайней мере на время, и мечтала о путешествии в Мекку вместе со своими подругами, что в конце концов реализовала. Хотя здесь мы можем говорить о реляционной амбивалентности, это также особая гендерная форма амбивалентности. Коннидис и МакМуллин [Connidis, McMullin] связывают эту гендерную природу амбивалентности с заботами о доме и семье и со структурированными отношениями между мужчинами и женщинами, которые определяют их долю в домашней работе. Женщины, которые на структурном уровне, как ожидается, по-прежнему будут выполнять большую часть работы по уходу за домом и семьей, могут иметь меньше средств, чтобы противостоять этому давлению. Более того, ожидается, что женщины не только будут выполнять большую часть работы по уходу за домом и семьей, но и находить в этом удовлетворение. Таким образом, амбивалентные чувства, которые это может вызвать, являются структурными [Hochschild 1997].

В то время как решение о сохранении своего основного места жительства в Австрии

было почти не подлежащим обсуждению для женщин, некоторые из моих собеседников-мужчин, напротив, заявили, что они предпочли бы вернуться в Турцию и регулярно ездить в Вену. У них были более сильные связи со своим родным городом, и они казались более интегрированными в социальную деятельность там, в том числе с друзьями и семьей. Как объяснялось выше, женщины оставались главными опекунами, присматривая за детьми (и внуками), в том числе за теми, которые давно переехали. Даже если после выхода на пенсию мужчины стали активнее заниматься эмоциональной сферой семьи и домашними заботами, они все же рассматривали вариант возвращения в Турцию (по крайней мере на более длительные периоды). Еще одна важная причина более тесной связи мужчин со своим родным городом может заключаться в том, что семейный дом в Турции почти всегда располагался в том месте, где они выросли и где жили их родители, если они все еще живы.

Эти разные предпочтения относительно того, где провести поздний период жизни, часто приводили к напряженности в отношениях между парами, примером чего является Барту и его жена. Поскольку Барту упал с лестницы в 2008 г. на стройке, на которой он работал, ему было трудно найти работу, и ему требуется лечение, в том числе хирургическое. Он просил о выходе на пенсию по инвалидности, но пока безуспешно. Барту сказал мне, что он очень скучает по Турции и надеется вернуться в ближайшее время. Он попросил жену вернуться с ним, особенно после всех проблем, которые он пережил с агентствами временного трудоустройства, которые, по его словам, были особенно жестокими для человека его возраста. Однако жена Барту не хотела возвращаться с ним и вместо этого настояла на том, чтобы он остался с ней в Австрии с двумя их детьми и девятью внуками. Вот что ответил мне Барту, когда я спросила его о его планах после выхода на пенсию: «Да, я хочу вернуться... потому что вы хотите жить в том месте, где родились. Я не говорю, что Австрия — это плохо; нет, очень хорошо... мне здесь нравится; здесь легче, чем в Турции... например, общественный транспорт... но все же ты скучаешь по месту своего рождения, не так ли?».

Барту описывает жизнь в Вене как более комфортную, а жизнь в Турции — как «свою» жизнь в месте, к которому он все еще чувствует себя принадлежащим. Тем не менее в конце своего объяснения он ищет утешения, когда говорит: «Да?». Через некоторое время он продолжил объяснять свое тяжелое положение «между» двумя странами — Турцией, страной его рождения и страной, в которой все еще живут его родители, и Австрией, страной, где он провел большую часть своей жизни, где родились его дети, которые чувствуют себя здесь как дома. Его слова иллюстрируют двойственное чувство принадлежности, с которым я так часто сталкивалась: «Мы не можем вернуться в Турцию... дети здесь. На самом деле в этом году я хотел переехать навсегда, но не смог убедить жену. Я хотел вернуться в Турцию, потому что здесь центр занятости не оставит меня в покое... когда вы заболели, вас беспокоит медицинская страховка... тогда они связывают вас с агентствами, которые предлагают временную работу, это стало проблемой! А поскольку я стар, компании больше не хотят меня нанимать. Берут на работу молодых, но работать они все равно не хотят... по этой причине мы не можем вернуться [в Турцию]. В конце концов, я согласился с женой остаться здесь, потому что здесь живут наши дети. Но я волнуюсь, потому что мои мама и отец живут в Турции. Они заболели и нуждаются в помощи. Но если бы мы уехали, наши дети тоже все время беспокоились бы о нас; это тоже проблема... но мы, наверное, останемся здесь».

Здесь родственники Барту играют центральную роль в процессе принятия им решений: присутствуют обе стороны (его дети и родители), и он, кажется, хочет отдать должное обоим. Кроме того, возникает конфликт между его желанием вернуться и желанием его жены сохранить свою основную резиденцию в Австрии. Как становится ясно в случае Барту, в то время как люди испытывают двойственные чувства по отношению к своему новому и старому домам, супружеским парам также необходимо согласовывать конфликтующие интересы, что чаще всего приводит к компромиссу. Это соответствует исследованиям стареющих трудовых мигрантов в других европейских странах. Зонтини [Zontini], например, показывает на примере стареющих итальянских трудовых

мигрантов в Соединенном Королевстве, что пол имеет решающее значение при анализе опыта пожилых людей. Болцман и др. [Bolzman, Fibbi, Vial] также показывают на примере итальянских и испанских трудовых мигрантов в Швейцарии, как гендерные различия становятся заметными, когда обсуждаются вопросы возвращения (см. также: [Bolzman, Kaeser, Christe]). Несмотря на гендерные различия, большинство пар в конце концов остановилось на одном продолжительном пребывании в Турции, от 1 до 3 месяцев (предпочтительно в течение/включая летнее время), и проведении остатка года со своими детьми (и внуками) в Вене. Таким образом, вопрос о том, где провести старость, следует понимать не как однократное решение, а скорее как процесс, который, по утверждению некоторых авторов, является неотъемлемой частью опыта стареющих мигрантов [Ganga]. Это также означает, что четкое решение может никогда не быть принято или планы по возвращению могут никогда не быть реализованы<sup>2</sup>.

Мои собеседники часто находили, что вопрос об уходе за пожилыми людьми в случае проблем с физическим и психическим здоровьем является трудным для решения. Также стало ясно, что семьи не обсуждали открыто вопросы ухода за пожилыми людьми. Особенно это было заметно, когда дети присутствовали во время неформальных собеседований. Следует добавить, что многие пожилые мигранты все еще считают себя «кормильцами семьи», поскольку берут на себя значительную долю домашних забот, включая уход за внуками, а также за взрослыми детьми с ограниченными возможностями или хроническими заболеваниями; не является необычным для матерей по-прежнему готовить для своих взрослых детей, если последние заняты трудовой жизнью. Когда я спросил своих собеседников о том, где и к кому они будут обращаться за помощью и уходом в преклонном возрасте, если они в ней будут нуждаться, большинство из них выразили надежду, что их дети позаботятся о них. Однако в целом они осознают, что не могут

<sup>2</sup> За исключением большинства участников моего исследования вместе с Алеви (у которых не было положительного отношения к современной Турции и ее политике), все мои собеседники, как мужчины, так и женщины, хотели быть похороненными в Турции, когда придет время.

воспринимать эту помощь как должное, и говорят, что «времена изменились».

Они знают, что молодое поколение занято работой и воспитанием детей, и на уход за старшими членами семьи остается совсем немного времени. Они добавили, что при необходимости будут искать институциональные формы ухода за пожилыми. Женщины обычно заявляли, что сначала будут искать учреждение в Австрии, тогда как мужчины иногда предпочитали место в своей стране. Однако и мужчины, и женщины в конце концов весьма неоднозначно относятся к тому, сможет ли дом для престарелых в Австрии удовлетворить их потребности [PalMBERGER 2018]. Языковые трудности всегда оказывались проблемой. Кроме того, вопросы веры, такие как предоставление молитвенных комнат и еды, особенно наличие условий для приготовления халяльной пищи, также важны для многих респондентов. Эти конкретные идеи и желания поздней жизни, сформулированные моими собеседниками, подтверждают аргумент о том, что «чувство принадлежности сложным образом меняется на протяжении всей жизни» [Zontini, 338]. Таким образом, при анализе жизненного мира мигрантов крайне важно учитывать меняющиеся жизненные ситуации, например, постпенсионный период. То же самое и при исследовании транснациональных связей, которые требуют подхода на протяжении всей жизни [King, Dalipaj, Mai].

## Вывод

Представляя концепцию реляционной амбивалентности в этой статье, я показала, что амбивалентность нельзя рассматривать исключительно как индивидуальный опыт, присущий человеку, или как результат только разного социального статуса и ролей. Скорее это продукт отношений, в которые вовлечены люди. Это также означает, что амбивалентность отношений может быть отмечена амбивалентностью, происходящей из гендерных структур. Такой реляционный подход к амбивалентности добавляет важный аспект анализа, который серьезно относится к межличностным отношениям мигрантов и перспективам их жизненного пути.

Мои выводы об амбивалентности отношений между бывшими гостевыми работниками, основанные на нарративном подходе и методологии жизненного пути, показывают, что выход на пенсию является важным этапом в жизни мигрантов, поскольку это время размышлений над своей миграционной историей и принятия решений на завершающем этапе жизни. В частности, данный период характеризуется множеством противоречий, которые наиболее ярко проявляются, когда выборы в прошлом (в частности, решение о миграции в Австрию), вопросы принадлежности и решения о том, как и где провести позднюю старость и как организовать уход за собой в преклонном возрасте, являются предметом энергичной заботы. Эмоции, не только индивидуальные, но и близких членов семьи, играют центральную роль в принятии решений мигрантами, часто вызывая двойственные чувства. Супруги и дети, их особые потребности и желания существенно влияют на процесс принятия решений. Когда мои собеседники взвешивали «за» и «против», казалось, что это было сделано не для того, чтобы убедить меня, интервьюера, а скорее в разговоре с несколькими людьми (особенно членов семьи), и аргументы приводились в ответ разным адресатам. Повествования, с которыми я сталкивалась, всегда представляли несколько (часто кажущихся противоположными) взглядов и точек зрения, и они часто напоминали внутренний диалог, который, казалось, продолжается задолго до того, как состоялся настоящий разговор. Именно в этом смысле амбивалентность следует понимать как продукт отношений, а не только как индивидуальный опыт. Концепция реляционной амбивалентности охватывает эти социальные и дискурсивные измерения амбивалентности.

Вместо того чтобы в первую очередь принимать амбивалентность как противоречие, я предлагаю обратить внимание на конкретный случай и на собственную интерпретацию говорящего, которая может выявить амбивалентность как более или менее тревожную, или иногда эти амбивалентные позиции просто мирно сосуществуют. Иногда амбивалентность даже связана с надеждой, что придает ей ориентированность на будущее. Исследователь Гаага [Hague] обсуждает амбивалентность в отношении надежды и веры в будущее, когда

он описывает амбивалентность и неопределенность как основу надежды. Даже когда люди оказываются в состоянии неопределенности, они могут в то же время сохранять надежду. Таким образом, быть «захваченным» амбивалентными чувствами и позициями необязательно означает пессимистический взгляд на будущее. Точно так же я предполагаю, что нерешительность или неопределенная отсрочка принятия решений не представляют собой пассивную реакцию, но вполне могут быть преднамеренной стратегией при столкновении с, казалось бы, неразрешимыми жизненными ситуациями. Этим статья пытается внести свой вклад в глубоко дифференцированные дебаты об амбивалентности, которые серьезно относятся к эмоциональным и социальным аспектам амбивалентности в миграционных контекстах и за их пределами.

Несмотря на то что в данной статье я показала, что процессы принятия решений и размышления о прошлом являются совместными усилиями (а не индивидуальным проектом), я проанализировала амбивалентность на фоне различных структурных ограничений и механизмов исключения, которые сильно повлияли

на моих собеседников и жизнь их семьи. Это касается изоляции и негодования, то есть дискриминации в сфере образования (в случае детей трудовых мигрантов) и дискриминации, с которой трудовые мигранты сталкиваются в конце своей трудовой жизни и после выхода на пенсию. На этапе после выхода на пенсию структурные ограничения часто подразумевают ограниченную географическую мобильность, что противоречит предпочтениям мигрантов в отношении поездок. Кроме того, стареющие трудовые мигранты сталкиваются с трудностями в доступе к институциональной системе ухода за престарелыми из-за отсутствия ухода с учетом культурных особенностей. Эти структурные ограничения сильно влияют на семейную жизнь и принятие решений в пожилом возрасте. В конечном итоге они ограничивают выбор людей в старости. Эти выводы имеют важное значение для политиков в Австрии и за ее пределами. Акцент на реляционной амбивалентности, которая включает в себя более широкие социальные структуры, может дать существенное понимание механизмов включения/исключения, которые влияют на жизнь мигрантов, особенно в пожилом возрасте.

### Благодарности

Я хотела бы выразить благодарность Институту Макса Планка по изучению религиозного и этнического разнообразия и Австрийскому научному фонду (FWF T702-G18) за финансирование исследования, на котором основана эта статья. Кроме того, я хотела бы поблагодарить Венский университет и двух моих научных сотрудников, которые поддержали это исследование. Я также хочу поблагодарить редактора IJCS, редакторов специального выпуска и анонимных рецензентов за их конструктивные комментарии и предложения.

### Финансирование

Это исследование было поддержано Австрийским научным фондом (FWF T702-G18), Институтом Макса Планка по изучению религиозного и этнического разнообразия и Венским университетом, Австрия.

### References

- Abu-Lughod, L., Lutz, C. A. (1990). Introduction: Emotion, discourse, and the politics of everyday life. In Abu-Lughod, L., and Lutz, C. A. (eds). *Language and the Politics of Emotion*. Cambridge: Cambridge University Press, 1–23.
- Ahmed, S. (1999). Home and away: Narratives of migration and estrangement. *International Journal of Cultural Studies*, 2(3), 329–347.
- Baldassar, L., Gabaccia, D. R. (2011). *Intimacy and Italian Migration: Gender and Domestic Lives in a Mobile World*. New York: Fordham University Press.
- Bauman, Z. (1990). Modernity and ambivalence. *Theory, Culture & Society*, 7(2–3), 143–169.
- Baykara-Krumme, H. (2014). Returning, staying, or both? Mobility patterns among elderly Turkish migrants after retirement. *Transnational Social Review*, 3(1), 11–29.
- Berliner, D. (2016). Anthropology and the study of contradictions. *Hau: Journal of Ethnographic Theory*, 6(1), 1–6.

- Bilecen, B. (2017). Home-making practices and social protection: An example of Turkish migrants living in Germany. *Journal of Housing and Built Environment*, 32, 77–90.
- Bilecen, B., Catir, G., Orhon, A. (2015). Turkish-German transnational social space: Stitching across borders. *Population, Space and Place*, 21, 244–256.
- Boccagni, P. (2012). Rethinking transnational studies: Transnational ties and the transnationalism of everyday life. *European Journal of Social Theory*, 15(1), 117–132.
- Boccagni, P. (2017). *Migration and the Search for Home. Mapping Domestic Space in Migrants' Everyday Lives*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Boccagni, P., Baldassar, L. (2015). Emotions on the move: Mapping the emerging fields of emotion and migration. *Emotion, Space and Society*, 16, 73–80.
- Bolzman, C., Kaeser, L., Christe, E. (2017). Transnational mobilities as a way of life among older migrants from Southern Europe. *Population, Space and Place*, 23(5), 73–80.
- Bolzman, C., Fibbi, R., Vial, M. (2006). What to do after retirement? Elderly migrants and the question of return. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 32(8), 1359–1375.
- Boyer, D. (2006). Ostalgia and the politics of the future in Eastern Europe. *Public Culture*, 18(2), 361–382.
- Ciubanu, O., Nedelcu, M. (2019). *Ageing as a Migrant: Vulnerabilities, Agency and Policy Implications*. London; New York: Routledge.
- Cohen, L. (1994). Old age: Cultural and critical perspectives. *Annual Review of Anthropology*, 23, 137–158.
- Connidis, I., McMullin, J. (2002). Sociological ambivalence and family ties. *Journal of Marriage and the Family*, 64(3), 558–567.
- Dwyer, C. (2000). Negotiating diasporic identities: Young British South Asian Muslim women. *Women's Studies International Forum*, 23(4), 475–486.
- Ehrkamp, P. (2005). *Placing identities: Transnational practices and local attachments of Turkish immigrants in Germany*, 31(2), 345–364.
- Ganga, D. (2006). From potential returnees into settlers: Nottingham's older Italians. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 32(8), 1395–1413.
- Giddens, A. (1994). Living in a post-traditional society. In Beck U., Giddens A. and Lash S. (eds). *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*. Cambridge: Polity Press, 56–109.
- Glick Schiller, N., Caglar, A. (2011). *Locating Migration: Rescaling Cities and Migrants*. Ithaca. New York; London: Cornell University Press.
- Glick Schiller, N., Salazar, N. (2013). Regimes of mobility across the globe. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 39(2), 183–200.
- Hague, G. (2016). Questions concerning a future-politics. *History and Anthropology*, 27(4), 465–467.
- Hillcoat-Nalletamby, S., Philipps, J. E. (2011). Sociological ambivalence revisited. *Sociology*, 45(2), 202–217.
- Hirsch, M., Spitzer, L. (2002). We would not have come without you: Generations of nostalgia. *American Imago*, 59(3), 253–276.
- Hochschild, A. (1983). *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Hochschild, A. (1997). *The Time Bind: When Work Becomes Home and Home Becomes Work*. New York: Metropolitan.
- Hromadzic, A., Palmberger, M. (2018). *Care across Distance: Ethnographic Explorations of Aging and Migration*. Oxford and Brooklyn, NY: Berghahn Books.
- Jovanovic, D. (2016). Ambivalence and the study of contradictions. *Hau: Journal of Ethnographic Theory*, 6(1), 1–6.
- Karl, U., Torres, S. (eds) (2016). *Ageing in Contexts of Migration*. Oxon and New York: Routledge.
- Keith, J. (1980). "The best is yet to be." Toward an anthropology of age. *Annual Review of Anthropology*, 9, 339–364.
- Kelle, U. (2007). The development of categories: Different approaches in grounded theory. In Bryant, A., Charmaz, K. (eds). *The Sage Handbook of Grounded Theory*. Los Angeles, CA: SAGE, 191–213.
- Kierans, C., Bell, K. (2017). Cultivating ambivalence. Some methodological considerations for anthropology. *Hau: Journal of Ethnographic Theory*, 6(1), 23–44.
- King, R., Dalipaj, M., Mai, N. (2006). Gendering migration and remittances: Evidence from London and Northern Albania. *Population, Space and Place*, 12(6), 409–434.
- Kivisto, P., La Vecchia-Mikkola, V. (2013). Immigrant ambivalence toward the homeland: The case of Iraqis in Helsinki and Rome. *Journal of Immigrant & Refugee Studies*, 11(2), 198–216.
- Lambek, M. (2016). On contradictions. *Hau: Journal of Ethnographic Theory*, 6(1), 6–8.
- Leavitt, J. (1996). Meaning and feeling in the anthropology of emotions. *American Ethnologist*, 23(3), 514–539.
- Maynard, M. A., Afsher, H., Franks, M. et al. (2008). *Women in Later Life: Exploring Race and Ethnicity*. Maidenhead: Open University Press.
- Merton, R. K. (1976). *Sociological Ambivalence and Other Essays*. New York: Free Press.
- Palmberger, M. (2008). Nostalgia matters: Nostalgia for Yugoslavia as potential vision for a better future. *Sociologija*, 50(4), 355–370.
- Palmberger, M. (2016). Social ties and embeddedness in old age: Older labour migrants in Vienna. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 43(2), 235–249.
- Palmberger, M. (2018). Social embeddedness and care among Turkish labor migrants in Vienna: The role of migrant associations. In Hromadzic, A. and Palmberger, M. (eds). *Care across Distance: Ethnographic Explorations of Aging and Migration*. Oxford and Brooklyn, New York: Berghahn, 97–112.

- Palmberger, M., Gingrich, A. (2013). Qualitative comparative practices: Dimensions, cases, and strategies. In Flick U. (ed.). *Sage Handbook of Analyzing Qualitative Data*. Thousand Oaks, CA: SAGE, 94–108.
- Palmberger, M., Hromadzic, A. (2018). Introduction: Care across distance. In Hromadzic, A. and Palmberger, M. (eds). *Care across Distance: Ethnographic Explorations of Aging and Migration*. Oxford and Brooklyn, New York: Berghahn, 1–12.
- Peletz, M. (2001). Ambivalence in kinship since the 1940s. In Franklin, S. and McKinnon, S. (eds). *Relative Value*. Durham: Duke University Press, 413–442.
- Reinprecht, C. (2006). *Nach Der Gastarbeit: Prekäres Altern in Der Einwanderungsgesellschaft*. Vienna: Braumüller.
- Smart, B. (1999). *Facing Modernity: Ambivalence, Reflexivity and Morality*. London: SAGE.
- Smelser, N. J. (1998). The rational and the ambivalent in the social sciences. *American Sociological Review*, 63(1), 1–16.
- Uehling, G. (2002). Sitting on suitcases: Ambivalence and ambiguity in the migration intentions of Crimean Tatar women. *Journal of Refugee Studies*, 15(4), 388–408.
- Vertovec, S. (2004). Migrant transnationalism and modes of transformation. *International Migration Review*, 38(3), 970–1001.
- Von Lorber, V. (2017). *Angeworben. Gastarbeiterinnen in Österreich in den 1960er und 1970er Jahren*. Göttingen: V&R Unipress.
- Weigert, A. (1991). *Mixed Emotions: Certain Steps Toward Understanding Ambivalence*. Albany, New York: State University of New York Press.
- Williams, R. (2009). On structure of feeling. In Harding, J., Pribram, E. (eds). *Emotions: A Cultural Studies Reader*. London; New York: Routledge, 35–49.
- Wong, L. (2002). “Home away from home?” Transnationalism and the Canadian citizenship regime. In Kennedy, P. and Roudometof, V. (eds). *Communities across Borders: New Immigrants and Transnational Cultures*. London; New York: Routledge, 169–181.
- Yeoh, B., Huang, S. (2000). “Home” and “away”: Foreign domestic workers and negotiations of diasporic identity in Singapore. *Women’s Studies International Forum*, 23(4), 413–429.
- Zontini, E. (2015). Growing old in a transnational social field: Belonging, mobility and identity among Italian migrants. *Ethnic and Racial Studies*, 38(2), 326–341.

Перевод с англ. А. А. Линченко

#### Сведения об авторе

**Палмбергер Моника** — PhD, научный сотрудник Центра исследований межкультурности, миграции и меньшинств, Университет г. Лёвен, Бельгия; научный сотрудник и преподаватель факультета социальной и культурной антропологии Университета Вены, Австрия

#### Information about the author

**Palmberger Monika** — PhD, Associated Research Fellow Interculturalism, Migration and Minorities Research Centre, University of Leuven, Belgium; Research Fellow and Lecturer, Department of Social and Cultural Anthropology, University of Vienna, Austria

Статья поступила в редакцию 15.07.2021;  
одобрена после рецензирования 31.08.2021;  
принята к публикации 15.09.2021

The article was submitted 15.07.2021;  
approved after reviewing 31.08.2021;  
accepted for publication 15.09.2021

Научная статья

УДК 008 + 316.74 + 793.322:39(=352.3) + 325.1 + 314.745.3

doi 10.15826/tetm.2021.2. 011

## Традиционный танец в свете памяти инпатриантов и диаспоры (на примере черкесов Турции и Косово)

Алла Николаевна Соколова

*Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия*

professor\_sokolova@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-7992-3902>

**Аннотация.** В статье рассматривается вопрос формирования разных танцевальных систем у одного этноса (адыгов-черкесов), разделенного почти 200 лет назад, представляющего черкесские диаспоры Косово и Турции. Исследуются причины потери культурной памяти у представителей диаспоры и ее регенерации в результате возобновления культурных контактов с российскими адыгами. Подчеркивается фрагментированность культурной памяти черкесской диаспоры в Турции, связанной с формированием разных танцевальных систем у черкесов (шапсугов и абадзехов) Черноморского побережья (Дюздже, Самсун) и черкесов (кабардинцев и хатукайцев) Кайсери. Разница танцевальных систем характерна также для восточных и западных адыгов в России. Однако указанная фрагментированность выступает как показатель локального разнообразия и, следовательно, как источник культурного богатства и ресурс жанрово-танцевального обмена.

**Ключевые слова:** память культуры, традиционный танец, адыги, черкесы, косовские инпатрианты, репатрианты, черкесы Турции

**Для цитирования:** Соколова А. Н. Традиционный танец в свете памяти инпатриантов и диаспоры (на примере черкесов Турции и Косово) // *Tempus et Memoria*. 2021. Т. 2, № 2. С. 35–44. <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.011>.

**Благодарности:** статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 20-012-00065 «Культурные диффузии черкесов Турции и России: искусствоведческий и социокультурный анализ».

Original article

## Traditional Dance in the Memory of Inpatriates and Diaspora (on the Example of the Circassians of Turkey and Kosovo)

Alla N. Sokolova

*Adyghe State University, Maikop, Russia*

professor\_sokolova@mail.ru

**Abstract.** The issue of the formation of different dance systems in one ethnic group (Circassians-Circassians), divided almost 200 years ago, representing the Circassian diasporas of Kosovo and Turkey, is considered. The reasons for the loss of cultural memory among representatives of the diaspora and its regeneration as a result of the resumption of cultural contacts with the Russian Adygs are investigated. The fragmentation of the cultural memory of the Circassian diaspora in Turkey is emphasized, associated with the formation of different dance systems among the Circassians (Shapsugs and Abadzeks) of the Black Sea coast (Duzce, Samsun) and the Circassians (Kabardians and Khatukays) of Kayseri. The difference in dance systems is also typical for the eastern and western Circassians in Russia. However, this fragmentation acts as an indicator of local diversity and, consequently, a source of cultural wealth and a resource for genre and dance exchange.

**Keywords:** culture memory, traditional dance, Circassians, Kosovar inpatriates, repatriates, Circassians of Turkey

**For citation:** Sokolova, A. N. (2021). Traditsionnyi tanets v svete pamyati inpatriantov i diasporы (na primere cherkесov Turtsii i Kosovo) [Traditional Dance in the Memory of Inpatriates and Diaspora (on the Example of the Circassians of Turkey and Kosovo)]. *Tempus et Memoria*, 2, 2, 35–44. (In Russ.). <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.011>.

**Acknowledgments:** this article was supported by the Russian Foundation for Basic Research. Project № 20-012-00065 “Cultural diffusion of the Circassians in Turkey and Russia: art history and socio-cultural analysis”.

Традиционный танец адыгов (черкесов), проживающих на исторической родине, Северном Кавказе, играет интегрирующую, этномаркирующую, социоадаптивную роль, не считая его универсальных функций — функцию релаксации, освобождения от негативной энергии в обмен на позитивную, обретения эстетического удовольствия, возможности знакомства с противоположным полом и выбора будущего брачного партнера, воспитания социокультурных норм, принятых в неписаном законе адыгства — *адыгагъэ*. О роли танцевального искусства в жизни черкесов написано немало, во многом это связано с его широким распространением в традиционной, самодеятельной и профессиональной средах. Речь идет о книгах и диссертации Шабана Шу [Шу], Игоря Атабиева [Атабиев], научных трудах Б. Бгажнокова [Бгажноков], З. Кешевой [Кешева 2005; Кешева 2014], М. Паштовой [Паштова], С. Кушу

[Кушу], А. Соколовой [Соколова 2008а; Соколова 2008б; Соколова, Чундышко] и др.

Что же происходило и происходит с традиционным танцем у черкесов, оторванных от метрополии в результате Кавказской войны? Для анализа мы привлекли две группы адыгов. Одна из них небольшая, всего чуть больше 200 семей, вынужденных переселиться на историческую родину в Адыгею из Косово в результате американских бомбежек в 1998 г. Вторая группа — многочисленная диаспора черкесов Турции, потомков тех, кто покинул Кавказ в результате Кавказской войны. По разным подсчетам, в настоящее время в Турции проживает до 5–7 млн черкесов. Мы не сравниваем косовских инпатриантов с черкесами Турции, а описываем конкретные примеры культурной памяти у одного этноса, отдельные группы которого были разведены историей в разные государства.

С первых дней появления в Республике Адыгея косовских инпатриантов<sup>1</sup> было очевидно, что они практически утратили традицию джэгу (танцевальных игр), родные песни, музыкальные инструменты, инструментальную музыку и танцы. Бывшие косовары<sup>2</sup> до сих пор, несмотря на то что уже 20 лет живут в Адыгее, стесняются выходить в круг, ибо достаточно низко оценивают свои танцевальные возможности. Югославские переселенцы свидетельствуют, что в Косово не оставалось ни одного адыгского музыканта, способного играть на свадьбе или другом торжестве. Адыгская свадьба проводилась практически по-албански: мужчины и женщины находились в разных помещениях, многие обряды совершались в согласии с мусульманскими канонами, женщины танцевали по-албански, адыгский танцевальный круг отсутствовал.

Действительно, большинство инпатриантов не помнят «настоящие» адыгские танцы; некоторые, живя в Косово, не знали названия таких популярных в западноадыгской среде танцев, как зафак, удж, зыгатлят, тлапечас. Пожилые косовары вспоминали, что до Второй мировой войны черкесы Югославии на свадьбах танцевали по-черкесски (*адыгэ къешIакI* (*къэшъуакI*) — *адыгэ кешач* — в адыгской манере), исполняли и попарные, и групповые танцы. Однако после того как в 1956 г. в Турцию уехали несколько сот соплеменников, а в их села стали заселяться албанцы и сербы, культурная ситуация сильно изменилась. В присутствии албанцев, констатируют косовары, им было неудобно танцевать рядом с девушками и даже находиться вместе с ними в одном помещении. Но даже и тогда, когда в помещении оставались одни адыги, мужчины не решались танцевать с женщинами, объясняя это религией.

Обычно на каждой адыгской свадьбе в Косово, где в основном танцевали по-албански, один или два раза устраивали серию адыгских танцев. Переход к черкесской танцевальной части осуществлялся спонтанно, как

правило, инициаторами становились женщины среднего возраста. Знаками начала исполнения черкесской пляски служили: 1) игра на губной гармонике (*Иупэщынэ* — общеадыг, *Иупэ* — губы, *пщынэ* — музыкальный инструмент, упэщын — губной музыкальный инструмент, губная гармоника); 2) исполнение особых мелодий, отличающихся от албанских; 3) характерная танцевальная исполнительская форма.

Просмотренные видеоматериалы черкесских свадеб в Косово дают представление примерно о пяти танцах. Подчеркнем, что, по представлению самих косоваров, эти танцы были вывезены с исторической родины после Кавказской войны. «Конечно, то, что мы танцевали в Косово, мы считали истинно адыгскими танцами. Во-первых, мы ничего другого черкесского не видели и не знали и, во-вторых, ни сербы, ни албанцы, ни черногорцы не танцевали так, как мы. Мы были уверены, что эти танцы наши предки привезли с Кавказа» (Незиха Хасани). Практически все танцы косовских женщин-черкешенок групповые, исполняемые в кругу. Между собой они различаются мелодиями, темпом и специфическими танцевальными приемами. Подробное описание этих танцев представлено в нашей статье [Соколова 2008а]. Здесь же подчеркнем, что «адыгские танцы» сохранили женщины среднего и старшего поколения. Это группа обрядовых танцев, исполняемых во время привода невесты на кухню для знакомства с бабушками и тетушками со стороны жениха.

В объяснении причин потери танцев косовары не склонны обвинять религию или иноэтническое окружение, но, детализируя обстоятельства, при которых был утрачен этот важнейший элемент культуры, они невольно называют религию и албанское влияние. Между тем нельзя не учитывать еще один фактор, который становится более понятным при сравнении с аналогичными процессами, происходящими в культуре турецких адыгов. Если для косоваров характерен феномен исчезновения (забытия) танцев при высокой степени сохранности языка, то у турецких адыгов, напротив, наблюдаются очевидные тенденции потери языка при сохранении танцевальной культуры. В этих обстоятельствах чрезвычайно важно, во-первых, учитывать численность адыгского населения в Турции и Югославии и, во-вторых,

<sup>1</sup> Мы используем термин «инпатриант», подразумевая под ним людей, вернувшихся на родину своих предков. В Адыгее в этом значении используется термин «репатриант» и даже учрежден праздник «День репатрианта» (1 августа) в честь возвращения группы косовских адыгов в Адыгею на постоянное место жительства.

<sup>2</sup> Жителей Косово в Европе принято называть «косоварами».

понимать значимость танца в больших и малых сообществах.

Для малочисленных косовских адыгов в пределах Югославии родной язык играл высокую знаковую функцию. Как часть культуры и в условиях частой смены официальных языков страны адыгский язык выступал мощным средством этнической идентичности. В повседневной культуре танец не был столь необходим, как язык. У косоваров этническая сохранность в первую очередь была обеспечена языком. В пределах Турции, напротив, проживали миллионы адыгов. Для широкого общественного потребления и в целях демонстрации этнической идентичности доминирующую роль стал играть танец. При этом нельзя забывать, что правительство Кемаля всех жителей Турции признавало турками, в документах запрещалось записывать нетурецкие имена, а на улицах требовалось разговаривать исключительно на турецком языке. Система жестких запретов не могла не сказаться на сохранении адыгского языка. Характерно, что при любых формах идеологизации культуры, явных или скрытых запретах на родной язык этнос сохраняет идентичность через танец. Последний кодирует этническую информацию в более символической и скрытой форме, что не только не вызывает запрета со стороны власти, но и нередко поддерживается ею. Известно, к примеру, что адыгские старинные песни о Кавказской войне, песни, воспевающие князей и уорков, в Советском Союзе находились под негласным запретом и, согласно внешней и внутренней цензуре, не выносились на сцену. В то же время сценическая зрелищность кавказских танцев обеспечивала им «зеленую улицу» в советской многонациональной культуре.

Как только косовары переселились в Россию и попали в стихию родной культуры, сразу наметились две тенденции. Одна, весьма позитивная, приобщение детей к адыгским традиционным танцам. На сегодня практически все дети косовских инпатриантов танцуют по-адыгски и делают это с огромным удовольствием. Многие из них посещают школьные танцевальные коллективы, и это весьма радует их родителей. Другая тенденция, негативная, имеет отношение к родному языку. Инпатрианты отмечают, что их дети дома между собой стали разговаривать на русском. Домашние

запреты и контроль за разговорной речью детей пока не дают желаемого результата.

Анализ музыкально-культурной ситуации, связанной с косовскими адыгами, еще раз убеждает в правоте идеи о том, что музыканты-инструменталисты или певцы-сказители последними теряют культуру. Их отсутствие в малой этнической группе губительно сказывается на самой группе и ее исторической памяти. Существование музыканта в группе, напротив, обеспечивает ей сохранение собственного лица. Изучение женских косовских танцев имеет важное методологическое значение. В определенной мере по ним можно восстановить картину танцевально-инструментальной культуры XIX в. Наличие точек соприкосновения между танцевальными культурами метрополии и периферийного косовского ареала может быть интерпретировано как фрагмент некой целостности, характерной для мира культуры XIX в. В этой связи обращают на себя внимание два фактора. Фактор первый — разнообразие танцев, часть из которых имеет сюжетно-игровую природу. В косовском варианте особенно показательным выступает танец одной женщины, имеющий явные следы игровой или ритуальной основы. Для сравнения напомним наличие у западных адыгов в первой половине XX в. танцев «Хантхупс» — «Хантхупс» — «Суп», «Къэшъольъац» — «Кашотляц» — «Танец хромого», «Плырыплл къашу» — «Плирыплль кашо» — «Танец на четверых», замешанных на смеховом эффекте. Фактор второй — высокая значимость групповых и массовых танцев, завершающих ритуальное действие. В этом ряду стоят косовские «Пайдос», «Джэгу удж», адыгский уджхурай и европейский «Circassian cercle» — «Черкесский круг», исполняемый в конце европейской (шотландской или другой) вечеринки.

Эти факторы свидетельствуют, что адыгская (точнее, западно-адыгская) инструментальная музыка и танцы XIX в. не укладывались в канон «зафак, зыгатлят, тляпечас, удж», который в советское время стал теоретически общепризнанным и общераспространенным на практике. Более того, мы осмеливаемся еще раз повторить мысль, уже однажды высказанную нами в связи с изучением адыгской гармоник. Речь идет о зафаке, который, как нам кажется, во-первых, является значительно поздним

танцем, вошедшим в адыгскую культуру в связи с гармоникой, и, во-вторых, представляет собой некое обобщение разнообразных парных танцев, имеющих самое разное содержание (лирическое, величавое, шуточное, игровое, театральное-сюжетное и др.). Подтверждение первому — незнание мелодий под зафак теми, кто покинул Кавказ 150 лет назад, незнание ими же известной в Адыгее примерно с начала XX в. танцевальной музыки М. Хагауджа, записанной на пластинки в 1911–1913 гг. Подтверждение второму — «чистое» содержание зафака, сублимация танца в эстетическую сферу. Между тем парные танцы этого класса до зафака имели разные смыслы, нередко весьма конкретные. В них разыгрывалась та или иная мизансцена (например, танец «*Зыгъэгус*» — зыгагус — «Обида», «*Къэшъолъяц*» — «Танец хромого») или выделялись определенные танцевальные движения (например, «*Хъакъуакъ*» — «Хакуач» — «Собачья походка»), или подчеркивалась другая исполнительская черта (например, количество танцующих: «*Плырыплъ къашъу*» — «Плырыплъ кашо» — «Танец на четверых»).

В традиционной культуре весьма разнообразны виды танцевальных движений ног у мужчин. Также разнообразны рисунки парных танцев. К примеру, в Турции еще помнят и танцуют «*Къэшъо пхэндж*» — «неправильную кафу» (партнеры не идут навстречу, а двигаются так, как будто передразнивают друг друга, парень идет вправо, и девушка делает движения в том же направлении, парень поворачивается влево, девушка вновь копирует его (Батурай Шагудж)) и «*Къэшъо бгъундж*» — боковую кафу, когда, практически стоя на месте, партнеры поворачиваются друг к другу то одним, то другим боком, как бы позволяя рассмотреть себя со всех сторон (Щангуль Мафэшуко).

Разделенные Кавказской войной и вынужденные в течение более 150 лет жить на чужих землях в иноэтническом окружении, косовские адыги всеми силами и разными способами, как могли, сохраняли свои танцы и танцевальную культуру. Оказавшись на исторической родине и увидев танцы, широко распространенные среди западных адыгов, косовары испытали определенный культурный стресс. То, что они берегли и сохраняли на чужбине, на родине оказалось «не адыгским», невостребованным, неисполняемым. Эта ситуация еще не получила

полного научного объяснения. Признавая танцевальную культуру косоваров разрушенной, мы понимаем роль изучения остатков этой культуры. Эти «остатки» сопоставимы с археологическими находками. Как по отдельному черепку можно восстановить целый сосуд, его декор, определить исторический возраст, так и по отдельным танцевальным элементам можно реконструировать целый танец или обряд, в который он был включен. Однако не все современные музыканты и хореографы готовы признать существующие у косоваров танцы за «остатки» когда-то целостной танцевальной культуры.

Оппоненты склонны считать, что косовский танцевальный пласт есть целиком заимствованный культурный комплекс, по-своему переработанный ими. Нам же представляется, что в малой диаспорной группе черкесов Косово культура танцевального игрища (джегу) оказалась полностью разрушенной, а сугубо женский обрядово-бытовой танец сохранился, возможно, в незначительно измененной манере, связанной с изменением бытовой среды (отсутствием специальных женских комнат, куда свадебная процессия отводила невесту). Понятно, что функционирование только женских танцев со сцепленными со стороны спины руками в среде косоваров создавало в сознании каждого нового поколения представление о них как о доминирующем комплексе танцев исторической родины. Так или иначе, но изучение танцев косоваров чрезвычайно важно для реконструкции целостной системы общеадыгской танцевальной культуры.

Совсем иная ситуация складывалась в среде черкесской диаспоры в Турции. Следует учитывать два важных фактора: 1) численность переселенцев; 2) характер их размещения на территории вначале Османской империи, а затем и в границах современной Турции. Надо понимать, что культура черкесской диаспоры в Турции а) негомогенна и б) не изучена в полной мере. Наши материалы собирались в основном в непродолжительных экспедиционных поездках в 2011, 2014, 2018, 2020 гг. и через экспертное интервью с черкесскими инпатриантами, проживающими в Адыгее.

Согласно теории *social support* (социальной поддержки) К. Коена [Cohen] при переезде на новое место жительства община пытается

сохранить привычное этнокультурное окружение, традиционный уклад жизни, чтобы избежать трудностей при аккультурации. Поэтому черкесские переселенцы-односельчане старались не разъединяться, искали ландшафт, похожий на ландшафт места исхода, называли новые поселения именами покинутых аулов. В результате субэтнического разделения в Анатолии образовалось несколько черкесских анклавов с сохранением собственных специфических культурных характеристик. Так, среди шапсугов и абадзехов, проживавших на турецком побережье Черного моря, доминировали танцы «тляпэрыш» и «щещен», у кабардинцев и хатукайцев Центральной Турции (70 аулов в районе Кайсери) главенствовала кафа. В течение длительного времени (практически в течение 150 лет) не только адыги России и Турции не имели никаких контактов (поэтому их культуры развивались независимо друг от друга), но и черкесы, проживавшие на разных территориях Турции, могли не знать друг о друге. Нам рассказывали, что когда жители Дюздже однажды приехали на свадьбу в Кайсери, они были немало удивлены тому, что их танцы идут без ударного сопровождения на пхэмбгу (досковом пхачиче). Черкесы Узун-Яйлы, впервые посетившие свадьбу в Самсуне, подумали, что их соплеменники исполняют турецкие танцы.

После распада СССР и установления первичных связей первое представление о каждой из сторон характеризовалось удивлением, связанным с «неузнаванием» культуры друг друга. Адыги России считали, что музыка и культура турецких адыгов отуречена, а те, в свою очередь, представляли музыку и культуру российских адыгов как сильно обрусевшую.

В метрополии и диаспоре сложились специфические танцевальные системы, весьма отличные друг от друга. Речь идет о музыкальных инструментах, местах и формах танцевальных действий, костюмах, танцевальных жанрах, кинесике и проч. Поразительно то, что, признавая существенную разницу этих систем, в каждой из сторон возник не просто любознательный интерес к культуре друг друга, но и актуализировалось желание практически осваивать танцы друг друга. Этот путь шел через профессиональную сцену, и хватило буквально одного десятилетия, чтобы танцы турецких адыгов стали исполнять на свадьбах и молодежных

вечеринках в республиках Северного Кавказа. В России танцы турецких адыгов стали обязательными в программах хореографического обучения в регионе, а в Турцию стали приглашать музыкантов-исполнителей, хореографов и балетмейстеров из России с целью обучения танцам российских адыгов.

Сошлюсь на интервью с Русланом Барчо, который трижды приезжал в Турцию с целью обучения адыгским танцам желающих в 1995–1998 гг. Каждый год он работал по семь месяцев, поэтому его оценка танцев турецких адыгов заслуживает внимания. Музыкант констатировал существенную разницу между танцевальной музыкой адыгов метрополии и диаспоры. Он признавался, что поначалу не мог отличить одну мелодию турецких адыгов от другой; был удивлен тем, что в удже девушку ставили слева от мужчины, в то время как в Адыгее девушка становится справа; обращал внимание на разный тип взаимодействия между партнерами в парном танце.

На Северном Кавказе традиционные свадьбы проходили в сопровождении гармоник рояльного типа, имеющих одинаковые звуки на сжим и разжим, в Турции — в сопровождении кнопочных инструментов, дающих разные звуки на сжим и разжим. Разность звукоизвлечения проявлялась в разности мелодий: более продленных, мелодических, развернутых у адыгов России и укороченных, дискретных у адыгов Турции. Разные типы мелодий коррелировали с разными типами шагов и телодвижений.

С 1991 г., буквально сразу после возможности массового передвижения Россия–Турция, черкесы диаспоры стали учить кавказские танцы. Танцы разучивались и исполнялись в черкесских общественных организациях, которые на адыгский манер назывались и называются «Хасэ»<sup>3</sup>. Следует еще раз подчеркнуть, что в Турции черкесами называют всех выходцев с Северного Кавказа. Эта лексема используется как экзоним для абхазов, адыгов,

<sup>3</sup> Слово «хасэ», которым в современной культуре Адыгеи и Кабардино-Балкарии называют парламенты, происходит от адыгского глагола «хасэн», что означает «втыкать». Согласно легенде на древних адыгских мужских собраниях говорящий должен был выходить в центр круга и представлять свое слово ровно столько по времени, сколько он мог устоять на одной ноге, держа вторую ногу, поднятую и вывернутую назад, двумя руками. Как только спикер терял равновесие и становился на обе ноги, он должен был закончить свою речь.

балкарцев, карачаевцев, дагестанских народов, осетин, чеченцев и др. Поэтому в качестве преподавателей кавказских танцев в Турцию приглашали кабардинца Алихана Битокова (2011–2017), адыга (бжедуга) Руслана Барчо (2005–2007), кабардинца Ауладина Думанишева (2003–2005), адыга (лабинского кабардинца) Артура Алибердова (2017) и др. Танцы спланировали черкесов Турции, связывали их с российскими соплеменниками, удовлетворяли потребность в обретении виртуальной покинутой их прародителями родины. Танцевальные занятия и выступления в пространстве Хасэ поднимали престиж этого социального института, делали его привлекательным и для других мероприятий. Готовые танцевальные номера демонстрировались на общетурецких фестивалях и праздниках. Танцевальные выступления в публичном пространстве делали черкесов заметными в обществе, представляли их культуру как часть турецкого общества. Выход на публичное пространство способствовал тому, что черкесы не оказались в отрицательной объективированной позиции «других», они становились «своими», «турецкими».

На больших торжествах проявлялась та же тенденция, наблюдаемая нами на примере косовских адыгов. Речь идет о потребности выступать «плечом к плечу» на свадьбах в качестве исполнителей на ударном инструменте — пхэмбгу. За обычную доску становятся или садятся сразу до 30 человек, которые синхронно ударяют по ней маленькими палочками, создавая ритмическое сопровождение танцу.

Важно отметить, что танец и музыка передавались от иммигрантов в первом поколении ко второму, третьему и последующим поколениям, которые не имели собственного опыта пребывания на родине своих предков. Однако почитание старших, культура внимательного слушания рассказов родителей, традиция хачецевых (гостевых) посиделок, мифологизированное представление об исторической родине как «земле обетованной», свободной и богатой, засаженной священными лесами, сохранившей язык и традиции, позволяло представлять танец и музыку в качестве идеальных проводников в память прошлого<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> Информаторы свидетельствуют, что многие представители черкесской диаспоры религиозные молитвы совершали не в сторону Мекки, а в сторону Кавказа.

Установление постоянных связей между адыгской диаспорой в Турции и соплеменниками в России способствовало не просто сплочению диаспорных сообществ, но и их определенному отмежеванию от других «черкесов» Турции — дагестанцев, чеченцев, осетин и проч. [Erol]. Конфликт памяти обострился в связи с грузино-абхазской войной 1991–1992 гг. Это почти сразу отразилось на общественных организациях народов Кавказа Турции, и некогда просто кавказские сообщества стали расходиться по «отдельным квартирам». У дагестанцев — своя общественная организация, у адыгов — своя, у чеченцев — своя. В конфедерации народов Кавказа (КафФед) возникли свои сложности. Турецкая среда выходцев с Кавказа с 90-х гг. XX в. все более и более теряет свою гомогенность. Танцевальное искусство отразилось на это почти моментально. Возможно, именно оно в определенной мере выступало триггером в процессе разрушения этой гомогенности. В разучиваемых танцах стали четко отличать «чеченские руки», «кабардинские руки», «дагестанские руки», «чеченские пятки», «адыгейский шаг» и т. д.

Познание себя у потомков мухаджиров происходило по той же модели, по которой покорители Кавказа познавали народы Кавказа. Это заметно отражается в вокабуляре и лексиконе XIX–XX вв.: от «горцев» и «иностранцев» в русскоязычный словарь входят лексемы «черкесы», «адыги», а затем «абадзехи», «бжедуги», «беленеццы», «кабардинцы», «шапсуги» и др. Так и адыги Турции постепенно стали осознавать себя не просто «потомками выходцев с Кавказа», а конкретно — выходцами из определенных мест, представителями определенных субэтносов, имеющих свои родовые знаки и фамилии. Однако если в России заметны, очевидны, описаны и изучены различия между западными и восточными адыгами, то в Турции различия между адыгами (черкесами), имеющие не только территориальные, но и субэтнические выражения, практически не исследованы. Это различия в танцевальных системах Кайсери и Дюздже, Карса и Чорума и др.

В коллективных воспоминаниях потомков мухаджиров отсутствовали танцы, которые активно бытовали на исторической родине. Однако в них срабатывала ценность

прародины. Они чаще всего представляли танцевальную культуру исторической родины как целостность, которую они потеряли или разрушили. В конфигурации коллективных воспоминаний черкесской диаспоры все, что шло с исторической родины, воспринималось как большая ценность. Отдельные критические оценки в целом не играли большой роли. В диаспоре считали, что раз на исторической родине танцуют так, а не иначе, значит, это они, представители диаспоры, забыли древние танцы и им надо воскресить их. И если старшее поколение не смогло быстро и качественно приспособиться к новой музыке, ее ритмам, тембрам музыкальных инструментов, то молодое поколение освоило эту культуру достаточно быстро, равно как и молодые адыги России. Особенность данного процесса состоит в том, что танцы турецких адыгов распространились на Северном Кавказе через профессиональную сцену и систему хореографического образования. Два танца турецких адыгов, «щещен» и «тляпэрэш», прочно вошли в праздничную культуру российских адыгов как знак культурного единства черкесов всего мира и в определенной мере как элемент культурной памяти. Именно поэтому на общинные деньги в Турцию стали приглашать российских адыгов для обучения танцам родины. Руслан Барчо рассказывал, что к нему в танцевальный кружок каждый год записывалось по 700 детей, которые хотели танцевать с утра до вечера, не уходя из Хасэ.

Еще раз укажем на факт фрагментированности культурной памяти черкесской диаспоры в Турции. При этом указанная фрагментированность выступает не как источник внутридиаспорной конфликтности или конфликтности между представителями диаспоры и метрополии, а как показатель локального или сублокального разнообразия и, следовательно, источника культурного богатства и ресурса обмена. Культурные ресурсы, полученные в результате «узнавания друг друга», предоставили возможность для непрерывного конструирования и пересмотра этнической идентичности [Cidra; Kaemmer; Rice; Roberson; Sheleman; Lidskog]. Нередко такие различия служили источником подтрунивания друг над другом и появления различных смеховых нарративов в виде анекдотов, притчей, фольклорных сюжетов. При этом традиция уважать

гостя, исполняя танец его народа, субэтноса или даже его села, сохраняется по сей день. Если на свадьбе или другом торжестве присутствует абхаз, абазин, балкарец или кто-либо другой, распорядитель танцев просит гостя выйти в круг и исполнить свой танец. Таким образом, музыка и танец используются в качестве символического идентификатора этногруппы, субгруппы или между членами группы и иноэтническим окружением.

Российские адыги и адыги Турции объединены памятью Кавказской войны, но в отношении танцевальной культуры они находятся в «параллельных» сообществах памяти. Нередко то, что ценят и о чем помнят потомки мухаджиров, не имеет отношения к исторической родине, а связано с определенными мифами, обусловленными разными причинами, в том числе иными местами проживания на территории Османской империи, после распада которой случались следующие переселения. Это касается, например, самовара. В каждом черкесском доме в Турции мы видели самовар, стоящий на почетном месте в горке или на серванте. В коллективной памяти черкесов Турции самовар их предки привезли с исторической родины, и он никак не связывается с русскими, а воспринимается как истинно адыгская историческая вещь. Более того, мастерицы декоративно-прикладного искусства запечатлевают самовар в циновках — особых ковриках из по-разному окрашенного рогоза. В практиках конструирования черкесской идентичности такие циновки играют не последнюю роль. Аналогично отношению адыгов Турции к гармонике кнопочного типа *Hohner*. По их представлениям, такую гармонику они привезли с исторической родины, хотя на самом деле в России, на Кавказе, со второй половины XIX в. распространялись гармоники рояльного типа с одинаковыми звуками на сжим и разжим (в основном гармоники вятского типа).

Таким образом, очевидно, что 150–200 лет отдельного проживания (проживания в разных странах и в разном иноэтническом окружении) позволили представителям одного этноса (черкесам-адыгам) сформировать разные музыкально-танцевальные системы, не оставив в культурной памяти «слепок» танцевальной системы исторической родины. Вернее сказать, сформировавшиеся в диаспоре танцевальные

системы этнофоры (носители культуры) приняли за танцевальные системы своей исторической родины. Это в очередной раз доказывает, что танец и музыка в диаспоре может не только служить сохранению культуры, фиксировать память прошлого и являться знаком коллективной идентичности. В новом культурном контексте музыка и танец впитывают в себя новые художественные элементы и по существу формируют специфическую (диаспорную) культурную идентичность. Культурный капитал диаспоры объективно меняется в новом обществе. Воочию столкнувшись с танцами своей исторической родины, представители диаспоры Косово и Турции испытали настоящий культурный шок. Оправившись от него, они стали осознавать культуру «других адыгов» как нечто ими забытое и стали активно осваивать танцы друг друга, понимая и принимая их как новый кластер в собственной танцевальной системе.

В прогнозировании культурного развития и культурных диффузий российских и турецких адыгов

танец остается основным этноинтегрирующим маркером, позволяющим преодолеть языковые и другие культурные различия, связанные с уровнем жизни, бытовым укладом и проч. Музыкально-танцевальные практики диаспорных черкесских сообществ в настоящее время неразрывно связаны с культурой исторической родины. Музыка и танец обеспечивают такую социальную сплоченность, которая не достигается религиозными или политическими средствами. Иногда через танец у турецких черкесов происходит знакомство и изучение родного языка. Многофункциональный танец остается самой востребованной культурной потребностью современного адыгского общества в метрополии и диаспоре, а для молодежи — нормой бытовой и праздничной культуры.

Для исследования культурной памяти черкесской диаспоры в Турции поиски забытых и установление функциональных трансформаций адыгских танцев является важнейшей научной задачей.

#### Список источников

- Атабиев И. К. Адыгский сценический танец. Нальчик : ООО Полиграфсервис и Т., 2018. 492 с.
- Бгажноков Б. Х. Черкесское игрище. Нальчик : Госкомиздат КБАССР, 1991. 188 с.
- Кешева З. М. Танцевальная и музыкальная культура кабардинцев во второй половине XX в. Нальчик : Издательство М. и В. Котляровых (Полиграфсервис и Т), 2005.
- Кешева З. М. Проблемы трансформации традиционной танцевальной культуры кабардинцев // Изв. КБНЦ РАН. 2014. № 4.
- Куцу С. А. Шуточные танцы адыгов (черкесов) : моногр. Майкоп : ООО «Полиграф-ЮГ», 2018. 124 с.
- Папцова М. М. Танец в локальной традиции черкесов Анатолии: идентификация жанра и социальные функции // Bulletin of the Kalmyk Institute for Humanities of the Russian Academy of Sciences. 2016. Vol. 23, iss. 1. P. 114–120. doi 10.22162/2075-7794-2016-23-1-114-120
- Соколова А. Н. Танцы и инструментальная музыка косовских адыгов // Вестн. Адыг. гос. ун-та. Серия «Филология и искусствоведение». 2008а. Вып. 10. С. 215–223.
- Соколова А. Н. Танец и инструментальная музыка косовских адыгов в свете этнокультурных контактов // Косовские адыги в Адыгее: проблемы адаптации репатриантов и устойчивое развитие региона : сб. ст. Майкоп, 2008б. С. 70–82.
- Соколова А. Н., Чундышко Н. А. К проблеме происхождения и изучения танца «Щэцэн» // Вестн. Адыг. гос. ун-та. Серия «Филология и искусствоведение». 2009. Вып. 2. С. 260–264.
- Шу Ш. С. Народные танцы адыгов. Нальчик : Эльбрус, 1992. 144 с.
- Cidra R. Politics of memory, ethics of survival: the songs and narratives of the Cape Verdean diaspora in São Tomé // Ethnomusicology Forum. 2015. № 24 (3). P. 304–328.
- Cohen S. Stress, Social Support, and Disorder' // The Meaning and Measurement of Social Support / ed. by H. O. Veiel, U. Baumann. Washington DC : Hemisphere, 1992.
- Erol A. Identity, migration and transnationalism: expressive cultural practices of the Toronto Alevi community // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2012. № 38 (5). P. 833–849.
- Kaemmer J. E. Between the Event and the Tradition: A New Look at Music in Sociocultural Systems // Ethnomusicology. 1980. Vol. 24, No. 1 (Jan.). P. 61–74. Published by : University of Illinois Press.
- Rice T. Reflections on music and identity in ethnomusicology // Musicology. 2007. № 7. P. 17–37.
- Roberson J. E. Singing diaspora: Okinawan songs of home, departure and return // Identities: Global Studies in Culture and Power. 2010. № 17(4). P. 430–453.
- Sheleman K. K. Music, memory and history // Ethnomusicology Forum. 2006. № 15(1). P. 17–37.
- Lidskog R. The role of music in ethnic identity formation in diaspora: a research review // International Social Science Journal. 2017. № 66. P. 1–16.

## References

- Atabiev, I. K. (2018). *Adygskij scenicheskiy tanec* [Adyghe stage dance]. Nal'chik: OOO Poligrafservis i T. 492 p.
- Bgazhnokov, B. H. (1991). *Cgerkesskoe igrishche* [Circassian dance festival]. Nal'chik: Goskomizdat KBASSR. 188 p.
- Cidra, R. (2015). Politics of memory, ethics of survival: the songs and narratives of the Cape Verdean diaspora in São Tomé. *Ethnomusicology Forum*, 24(3), 304–328.
- Cohen, S. (1992). Stress, Social Support, and Disorder'. *The Meaning and Measurement of Social Support* / ed. by H. O. Veiel, U. Baumann. Washington DC: Hemisphere.
- Erol, A. (2012). Identity, migration and transnationalism: expressive cultural practices of the Toronto Alevi community. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 38(5), 833–849.
- Kaemmer, J. E. (1980). Between the Event and the Tradition: A New Look at Music in Sociocultural Systems. *Ethnomusicology*, 24, 1 (Jan.), 61–74.
- Kesheva, Z. M. (2014). Problemy transformacii tradicionnoj tanceval'noj kul'tury kabardincev [Problems of transformation of the traditional dance culture of the Kabardians]. *Izvestiya KBNC RAN*, 4.
- Kesheva, Z. M. (2005). *Tanceval'naya i muzykal'naya kul'tura kabardincev vo vtoroj polovine XX v.* [Dance and musical culture of Kabardians in the second half of the XX century]. Nal'chik.
- Kushu, S. A. (2018). *Shutochnye tancy adygov (cherkesov): monografiya* [Comic dances of the Circassians]. Majkop: OOO «Poligraf-YUG». 124 p.
- Lidskog, R. (2017). The role of music in ethnic identity formation in diaspora: a research review. *International Social Science Journal*, 66, 1–16.
- Pashtova, M. M. (2016). Tanec v lokal'noj tradicii cherkesov Anatolii: identifikaciya zhanra i social'nye funkcii [Dance in the local tradition of the Circassians of Anatolia: genre identification and social functions]. *Bulletin of the Kalmyk Institute for Humanities of the Russian Academy of Sciences*, 23, 1, 114–120. doi 10.22162/2075-7794-2016-23-1-114-120.
- Rice, T. (2007). Reflections on music and identity in ethnomusicology. *Musicology*, 7, 17–37.
- Roberson, J. E. (2010). Singing diaspora: Okinawan songs of home, departure and return. *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 17(4), 430–453.
- Sheleman, K. K. (2006). Music, memory and history. *Ethnomusicology Forum*, 15(1), 17–37.
- Shu, Sh. S. (1992). *Narodnye tancy adygov* [Folk dances of the Circassians]. Nal'chik: El'brus. 144 p.
- Sokolova, A. N. (2008a). Tancy i instrumental'naya muzyka kosovskih adygov. [Dances and instrumental music of the Kosovar Circassians]. *Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Filologiya i iskusstvovedenie»*, 10, 215–223.
- Sokolova, A. N. (2008b). Tanec i instrumental'naya muzyka kosovskih adygov v svete etnokul'turnyh kontaktov. [Dances and instrumental music of the Kosovar Adygs in the light of ethnocultural contacts]. *Kosovskie adygi v Adygee: problemy adaptacii repatriantov i ustojchivoe razvitie regiona: sb. statej*. Majkop, 70–82.
- Sokolova, A. N., Chundyshko, N. A. (2009). K probleme proiskhozhdeniya i izucheniya tanca «Sheshchen» [To the problem of the origin and study of the dance “Sheshchen”]. *Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya «Filologiya i iskusstvovedenie»*. 2. Majkop, 260–264.

## Сведения об авторе

**Соколова Алла Николаевна** — доктор искусствоведения, профессор кафедры теории, истории музыки, методики музыкального воспитания Института искусств Адыгейского государственного университета, г. Майкоп, Россия

## Information about the author

**Alla N. Sokolova** — Doct. Sci. (Art Criticism), Professor of Department of the Theory and History of Music and Technique of Musical Education of Institute of Arts Adyghe State University, Maikop, Russia

Статья поступила в редакцию 15.07.2021;  
одобрена после рецензирования 31.08.2021;  
принята к публикации 15.09.2021

The article was submitted 15.07.2021;  
approved after reviewing 31.08.2021;  
accepted for publication 15.09.2021

Научная статья

УДК 004.942 + 94:159.953 + 94(470.26) + 728.61 + 325.1 + 004.946

doi 10.15826/tetm.2021.2.012

## Дом сельского переселенца: трехмерное моделирование и память о послевоенных миграциях в Калининградскую область

Елена Вячеславовна Баранова<sup>1</sup>, Виталий Николаевич Маслов<sup>2</sup>,  
Вера Дмитриевна Орлова<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград, Россия

<sup>3</sup>Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина, Тамбов, Россия

<sup>1</sup>EBaranova@kantiana.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7519-4258>

<sup>2</sup>VMaslov@kantiana.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1830-4657>

<sup>3</sup>verorl@yandex.ru

**Аннотация.** Одним из главных элементов исторической памяти калининградцев является заселение региона советскими людьми после Второй мировой войны. В статье показана возможность применения виртуального моделирования для сохранения памяти о миграционной политике советской эпохи, значимой для отдельных регионов и всего государства. На примере Калининградской области дано детальное описание 3D-реконструкции важнейшего элемента жизни сельских переселенцев — жилого дома. Рассмотрены проблемы поиска и использования в ходе моделирования архивных, устных, материальных, визуальных и других исторических источников как в области вселения, так и в местах выхода переселенцев. Охарактеризованы трудности, возникшие при виртуальном воссоздании отдельных предметов послевоенного советского быта.

**Ключевые слова:** трехмерное моделирование, историческая память, Калининградская область, послевоенное время, миграции, повседневная жизнь, сельский дом

**Для цитирования:** Баранова Е. В., Маслов В. Н., Орлова В. Д. Дом сельского переселенца: трехмерное моделирование и память о послевоенных миграциях в Калининградскую область // *Tempus et Memoria*. 2021. Т. 2, № 2. С. 45–55. <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.012>.

## House of a Rural Migrant: Three-dimensional Modeling and Memory of Post-war Migrations to the Kaliningrad Region

Elena V. Baranova<sup>1</sup>, Vitaly N. Maslov<sup>2</sup>, Vera D. Orlova<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>*Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation*

<sup>3</sup>*Tambov State University, Tambov, Russian Federation*

<sup>1</sup>EBaranova@kantiana.ru, <https://orcid.org/0000-0001-7519-4258>

<sup>2</sup>VMaslov@kantiana.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1830-4657>

<sup>3</sup>verorl@yandex.ru

**Abstract.** One of the main elements of the historical memory of Kaliningraders is the settlement of the region by Soviet people after the Second World War. The article shows the possibility of using virtual modeling to preserve the memory of the migration policy of the Soviet era, which is significant for separate regions and the entire state. Drawing on the example of the Kaliningrad region, a detailed description of 3D-reconstruction of the dwelling house — most important element of the rural settler's life is given. The problems of searching and using in the course of modeling archival, oral, material, visual and other historical sources both in the field of settling and in places of removal are considered. The difficulties that have arisen during the virtual reconstruction of individual items of the post-war Soviet everyday life are characterized.

**Keywords:** three-dimensional modeling, historical memory, Kaliningrad region, post-war period, migrations, everyday life, rural house

**For citation:** Baranova, E. V., Maslov, V. N., Orlova, V. D. (2021). Dom sel'skogo pereselentsa: trekhmernoe modelirovanie i pamyat' o poslevoennykh migratsiyakh v Kaliningradskuyu oblast' [House of a Rural Migrant: Three-dimensional Modeling and Memory of Post-war Migrations to the Kaliningrad Region]. *Tempus et Memoria*, 2, 2, 45–55. (In Russ.). <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.012>.

### Введение

Со второй половины 1980-х гг. в отечественной науке рассматриваются теоретические и методологические аспекты изучения исторической памяти, а также активно исследуются проблемы ее функционирования (см., например: [Касьянов, Чупрынников; Репина]).

Одним из инструментов формирования исторической памяти и «оживления прошлого» являются реконструкции, в том числе визуализации, основанные на использовании современных компьютерных технологий, поиске и изучении широкого круга исторических источников, популяризации и доступности полученных образов для широкой публики [Виртуальная реконструкция...; Вязинкин, Двухжилова; Вязинкин, Ливенцев; Ростовцев]. Трехмерное моделирование выполняется не только в ведущих научных, образовательных и музейных учреждениях страны, но

и на региональном уровне. Сегодня цифровая трехмерная виртуальная реконструкция утраченных объектов, воссозданных на основе источников, обеспечивает адекватный доступ к предмету исследований в области археологии, искусства, архитектуры и истории в эпоху Интернета 3.0/4.0 [Бородкин]. Глубокая интерпретация источников и виртуальное восстановление объектов материального прошлого дают историкам и пользователям более глубокое его понимание

Калининградская область создана после победы над фашистской Германией на части бывшей Восточной Пруссии. В сложившейся в советское и постсоветское время исторической памяти жителей Янтарного края важное место занял этап становления области, одним из важнейших процессов которого стало ее заселение советскими людьми. Особо изучаемым и пропагандируемым направлением в истории формирования калининградского

населения является массовое и организованное перемещение в молодую российскую область сельских тружеников — представителей многонациональной России и Белоруссии. В этом плане региональная историческая память неразрывно связана с исторической памятью страны, что особенно важно в современных условиях, когда Калининградская область как заграничная территории России отделена от нее другими государствами.

В настоящее время в Калининградской области начинают изучать повседневную культуру советских переселенцев послевоенного времени, приехавших на бывшую немецкую землю. С одной стороны, мигранты могли отвергать сложившиеся на ней материальные условия будничной жизни, так как они ассоциировались с противником в войне, которая принесла многим советским людям потерю родных и невероятные лишения, или же, в той или иной степени, использовать немецкие вещи для создания приемлемой каждодневной среды обитания. С другой стороны, переселенцы привозили и применяли в быту вещи и утварь, которыми пользовались в родных местах. При этом многие предметы быта уже частично или полностью утрачены или сохранились в единичных экземплярах. С помощью методов трехмерного моделирования можно воссоздать данные элементы обыденной жизни первого поколения калининградцев, наполнив в познавательном плане интересными виртуальными образами прошлого региональную историческую память.

В Балтийском федеральном университете им. И. Канта Научно-исследовательским центром социально-гуманитарной информатики (НИЦ СГИ) выполняется проект, нацеленный на сохранение исторической памяти о заселении области советскими людьми. Задачей проекта является реконструкция с помощью 3D-технологий сельского дома, который получила и обустроила условная семья, мигрировавшая в регион. Воссоздаваемое виртуальное здание с его внутренними интерьерами является во многом собирательным образом переселенческого дома.

В целом реконструкция интерьера жилых помещений дома переселенца оказалась интересной, но сложной задачей. У музейщиков есть огромный опыт создания мемориальных

интерьеров, когда вокруг чернильницы великого писателя или чего-то подобного начинают появляться вещи эпохи, много мемориальных документов или их копий для экскурсии, по сути, о биографии, а не об образе жизни владельца мемориального жилья. Перед НИЦ СГИ стояла иная задача: виртуальный дом должен с помощью цифровых технологий сохранить память и сделать доступной широкому кругу пользователей визуализацию образа жизни послевоенного поколения, переехавшего не просто на новое, а на воспринимавшееся чуждым место жительства. Но одновременно переезд был связан и с надеждами на лучшую жизнь, ибо родные послевоенные места встретили победителей даже усугубившимися после войны наитяжелейшими условиями жизни и труда. И многие семьи поехали в бывшую Восточную Пруссию ради детей, как переживших военное лихолетье, так и будущих, еще не родившихся, но таких желанных. Манну небесную взрослые для себя не ждали. Были готовы и на тяжелый труд, и на бытовую неустроенность. За войну перетерпели всякое. Но для малышей хотели именно светлого будущего. Поэтому, создав собирательную коллективную биографию семьи, чей дом мы «обставляли», участники проекта хотели показать и психологическую характеристику жителей Калининградской области того времени, а через вещи — их внутренний мир. Отсюда и поиск для оцифровки подлинных простейших, но «говорящих» бытовых предметов и деталей как обретенных на месте вселения, так и привезенных с собой из российских и белорусских регионов.

## Источники

При реконструкции дома участники проекта ориентировались на две крупные категории источников. К калининградскому комплексу относятся материалы, связанные с обустройством переселенцев на территории области, позволяющие собрать сведения для моделирования сельского жилого здания, размещения в нем предметов, полученных или найденных в месте вселения и привезенных с собой. Из-за того что многие элементы быта уже исчезли и их не восстановить на основе

калининградских источников, очень важен второй круг источников — те вещи, которые могли быть перемещены из районов переселения мигрантов. В связи с этим изучались материальные объекты, использовавшиеся в послевоенное время в Тамбовской области, являвшейся одной из доноров калининградского сельского населения.

**Калининградские источники.** Информация о переселенцах и обстоятельствах переезда, обустройстве на новом месте, закреплении на нем или «обратничестве» содержится в разных источниках. Существенную роль в сохранении исторической памяти о формировании сельского населения региона играют архивные документы, материалы устной истории и музейные собрания.

В Государственном архиве Калининградской области (ГАКО) хранятся основной массив сведений о расселении мигрировавших сельских жителей, эшелонные списки переселенцев, статистические данные о прибытии и выбытии переселенческих семей, различные распорядительные и отчетные документы комитетов компартии, советских и, в частности, переселенческих органов управления.

Одним из ценных источников информации о повседневной жизни являются интервью переселенцев. Интервьюирование проводилось в конце 1980-х — начале 1990-х гг. и в конце 1990-х — начале 2010-х гг. сотрудниками и студентами-историками Калининградского, ныне Балтийского, федерального университета. Тексты этих интервью хранятся в ГАКО и Калининградском областном историко-художественном музее. Также беседы с переселенцами опубликованы в местной периодической печати. При сборе сведений для создания трехмерной модели сельского дома обработаны сведения из почти 300 интервью переселенцев в калининградские села во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. Большинство интервьюируемых (63 %) приехали в регион в возрасте 14–28 лет, 7 % мигрантов были старше 28 лет. Таким образом, респонденты в год прибытия были молодыми людьми, которые осознанно участвовали в жизни переселенческих хозяйств, некоторые из них были главами семей или их супругами. В интервью есть воспоминания об обустройстве домов, полученных мигрантами в колхозах и совхозах.

В постперестроечное время в регионе наряду с государственными (областным историко-художественным и др.) музеями стали действовать муниципальные, частные и школьные музеи, располагающие большим количеством предметов, относящихся к немецкому и советскому прошлому края, в том числе вещи и немецкого, и советского происхождения, принадлежавшие первым советским переселенцам в Калининградскую область. Данные предметы изучались и фотографировались сотрудниками НИЦ СГИ во время экспедиционных поездок в область.

Некоторые сведения об интерьере сельских домов получены из калининградских газет второй половины 1940-х гг.

Немного фотографий, зафиксировавших обстановку и убранство комнат сельского калининградского жилища в послевоенное время. Для реконструкции переселенческого дома использован фрагмент из снятого в 1949 г. документального фильма о Калининградской области. В нем показана комната в доме пасечника П. И. Степанова [Калининградцы].

Мигранты, особенно в первые годы заселения региона, получали жилье в немецких домах, сохранившихся до наших дней. В большей части таких зданий был сделан ремонт, проведена перепланировка. Однако в ходе экспедиций удалось найти и зафиксировать жилые строения в почти неизменном виде, с расположением комнат, сохранившимся с послевоенных времен. У владельцев некоторых домов имеются их поэтажные планы, в которых указаны размеры всех помещений. Также использовалась немецкая специальная литература со схемами типовых сельских зданий, строившихся в Восточной Пруссии в первой половине XX в. [Steinmetz].

**Тамбовские источники.** Условия жизни тамбовских сельчан в 1945–1950-е гг. стали интересовать музейщиков и краеведов относительно недавно. Фотодокументы в Государственном архиве Тамбовской области и Государственном архиве социально-политической истории Тамбовской области, тамбовских газетах чаще представляют лучшие дома населенных пунктов. Крайне редко делались фотографии тамбовчан в будничной одежде, в которой они мигрировали в другие регионы страны, в том числе в калининградские села.

Бытовая утварь той поры представлена в музеях Тамбовской области. Причем в последние годы Тамбовский областной краеведческий музей проводил регулярные выставки экспонатов из музеев райцентров, что позволило одному из авторов шире увидеть быт послевоенной тамбовской деревни. Предметы традиционные, старые, сохранявшие момент инерции довоенных, а то и дореволюционных лет, или исчезли из обихода, или не интересуют музейщиков. В музеях преобладают праздничная одежда, награды, новые для того времени изделия. Однако в целом музейные экспозиции создают представления о вещах, которые переселенцы могли везти в Калининградскую область.

Также использовалась возможность изучать фотографии и памятные вещи в своих и знакомых тамбовских семьях, разговаривать с родственниками, помнившими исследуемый период взрослыми, подростками и детьми. Из разговоров со стариками стало понятно, что очень тяжелый на Тамбовщине голодный 1946/47 год оказался одним из факторов, повлиявших на принятие семьями решения о вербовке для переезда из родных мест.

### Обустройство переселенческих домов

В первые годы переселенческой кампании сельских жителей селили преимущественно в домах досоветской постройки. Рассказывая о качестве строений, переселенцы часто говорят про кирпичные и деревянные дома, крытые черепицей. Один переселенец вспомнил, что его семье достался глинобитный дом. Из комплекса интервью следует, что состояние жилых строений было разным. Переселенцы, прибывшие после начала организованной массовой миграции, могли вселяться в дома, не подвергшиеся разрушению во время боевых действий. Также переселенцам выделялись дома, которые требовали ремонта, так как в области не успевали при нараставшем потоке мигрантов обеспечить всех хорошим жильем. Порой переселенцев селили в полуразрушенные дома [ГАКО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 30. Л. 125; Д. 31. Л. 27; Д. 32. Л. 16; Первые переселенцы..., 40; Марков 2020а; Марков 2020б]. В. А. Красильников

описал жилые строения в некоторых частях Озерского района: «Дома на хуторах были разные, были большие барские дома, но чаще всего их быстрее ломали или сжигали, возможно, это обосновывалось ненавистью. В основном в домах были сильно выбиты стекла, некоторые были сильно заброшены; встречались очень хорошие дома» [ГАКО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 47. Л. 64]. Конечно, в сельских районах области строили и новые дома, особенно после того, как почти все немецкие здания были переданы мигрантам.

Еду многие переселенцы готовили на немецких кухонных плитах [Наталич, 83]. Встречаются рассказы о кафельных плитах, например, с «блестящими крючками» [Там же, 101]. В поселке Краснолесье Нестеровского района оставшиеся от немцев плиты в некоторых домах используются до настоящего времени. В. Я. Захарова (Малкова) из Полесского района вспомнила, что «печи внутри были сделаны на голландский манер, родители их переделали на русские, так как хлеб выпекали каждый в своем доме» [Там же, 125]. Так поступили многие переселенцы [ГАКО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 29. Л. 111; Д. 36. Л. 74; Д. 50. Л. 148; Д. 52. Л. 145, 200]. В прессе отмечалось, что в декабре 1946 г. в калининградских селах сложили более тысячи русских печей [Благоустройство семей...]. Кое-кто модернизировал немецкие печи: «В комнате была большая печка, их называли “галанки”. Мой отец ее чуть-чуть переделал, добавил что-то типа лежанки, как у русской печки» [Там же. Д. 46. Л. 117]. В интервью обращалось внимание и на одновременное использование немецких и русских печей: «Отец сложил русскую печь в доме, голландки мы не ломали» [Наталич, 116], «в доме была печь, большая, разукрашенная узорами, но мы ее убрали и поставили русскую печку... а в другой комнате оставили немецкую» [ГАКО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 29. Л. 111].

Во многих интервью респонденты говорят о немецкой посуде. М. В. Фадеева из Полесского района упомянула, что «почти в каждом разрушенном доме можно было найти посуду. Какую-нибудь чашку красивую или тарелку» [Там же. Д. 49. Л. 34]. О. П. Яблочкина (Озерский район) сообщила: «Бывало, что при вспашке полей, огородов под землей обнаруживали чаще всего деревянные ящики,

забитые посудой» [ГАКО. Ф. Р-1191. Оп. 1. Д. 29. Л. 184] (см. также: [Там же. Д. 36. Л. 52, 239; Д. 52. Л. 164]). Впрочем, не все переселенцы сумели раздобыть немецкую утварь. В целом ряде поселков ее находили лишь две — три семьи [Там же. Д. 29. Л. 24]. В муниципальных музеях области экспонируется большое количество немецких стеклянных бутылок и банок, которые пользовались популярностью в переселенческих семьях. Чугунки, тарелки, ложки мигранты часто везли из регионов выхода.

Переселенцы помнят о взятых с собой из родных мест «некоторых предметах мебели» или о перевозке «прежнего имущества: мебели», «всего домашнего скарба» [Там же. Д. 29. Л. 184; Д. 30. Л. 157; Д. 46. Л. 52; Д. 48. Л. 82; Д. 50. Л. 198]. Однако чаще всего мигранты не везли домашнюю обстановку, а могли пользоваться в калининградских колхозах и совхозах немецкой мебелью. Столы, стулья, шкафы, кровати и кушетки оставались в некоторых выделенных или еще пустовавших домах, приобретались у немцев за продукты. Какие-то предметы, хотя уже и не используются, но уцелели до сих пор. К примеру, в Озерском историко-краеведческом музее выставлена немецкая кровать с пружинами. Нередко мигранты сами делали простейшую мебель. С развитием торговой сети обстановку стали покупать в магазинах [Там же. Д. 9. Л. 11, 31; Д. 10. Л. 74–75; Д. 13. Л. 64; Д. 25. Л. 30; Д. 30. Л. 70, 117; Д. 33. Л. 8; Д. 35. Л. 22; Д. 36. Л. 73, 89, 113; Д. 37. Л. 66, 159; Д. 38. Л. 70; Д. 47. Л. 140; Д. 52. Л. 25, 216, 280; Д. 54. Л. 14; Первые переселенцы..., 51; В начале нового пути..., 196, 211].

### **Трехмерная модель интерьера комнат в виртуальном доме сельского переселенца**

Создавая на основе разнообразных источников модель калининградского сельского дома периода послевоенной миграции, участники проекта исходили из того, что внутри здания размещались вещи, привезенные из российских и белорусских регионов, и немецкие предметы. В результате виртуально реконструирован собирательный образ переселенческого дома, его комнат, кухни и разных помещений. При этом проблема использования некоторых предметов до сих пор является дискуссионной

и обсуждается участниками продолжающегося проекта.

**Легенда.** За основу легенды взяты материалы проекта «Исследование социально-демографического потенциала сельского населения Калининградской области в 1946–1947 гг. с использованием системы управления базами данных». На основе анализа статистических документов выявлено, что в область в 1946 г. мигрировали в основном семьи с детьми. Почти  $\frac{3}{4}$  семей, переехавших в Калининградскую область, состояли из 3–6 человек. Доля таких хозяйств достигала 74,2 % от всех семей. При этом почти одинаковым было число семей из 4 и 5 человек (21,6 и 21 % соответственно). В среднем одна переселенческая семья насчитывала почти 5 человек. На основе этих данных принято решение, что «наша» переселенческая семья состоит из 4 человек, из них 2 родителя и 2 детей — младенец и девочка школьного возраста, глава семьи — председатель колхоза.

**Техническая работа. Особенности реконструкции интерьера.** В рамках проекта создано четыре панорамных вида дома первых переселенцев. Это внешний облик дома, кухня, комната родителей с грудным ребенком, общая комната (спальня дочери) и коридор.

Первоначально команда составила список объектов и предметов, которые вошли в реконструкцию и воссоздали быт советского периода. На основе собранного, обработанного и накопленного материала составлены план-схемы помещений, предназначенные для 3D-моделирования и визуализации, утверждена расстановка мебели и предметов согласно разработанной «легенде», затем был реконструирован сам дом.

В осуществлении проекта наиболее проблемным явился этап визуализации и моделирования. Процесс 3D-моделирования, текстурирования и визуализации предполагает, что конечный результат должен полностью копировать реальные предметы быта в доме, создавать полную иллюзию реальности. Основная проблема связана с тем, что часть предметов создавалась по фотографиям и воспоминаниям. При этом не хватало технических данных, таких как размеры, пропорции, мелкие детали, цвета и т. д. Кроме того, сама работа в программных пакетах 3D-моделирования сложна, требует их хорошего знания и большого опыта работы.

Основным средством в нашей работе стала программа 3d Max, преимущество которой заключается в возможности создания высокоточных и детально выверенных моделей.

Большинство архитектурных элементов интерьера (окна, двери, лестница, печь) воссозданы по предметам, сохранившимся в домах переселенцев. Например, кухонная печь была обнаружена в доме переселенца в Полесске. Если образцы крупных объектов (шкафы, кровати, столы, стулья и др.) изучены в основном в музеях Калининградской области, то мелкие бытовые вещи (предметы обихода, детские игрушки, кухонная утварь) воспроизводились на основе консультаций с тамбовским специалистом. Так, образцы кровати и ученической парты для дочери главы семьи удалось отыскать в краеведческих музеях Озерска и Багратионовска, трофейная немецкая коляска была найдена по послевоенной фотографии, принесенной в НИЦ СГИ жительницей Калининградской области. Включение в реконструкцию мелких бытовых предметов сделало, с одной стороны, модель дома более достоверной, детальной, но, с другой стороны, в несколько раз усложнило работу. Многие вещи вышли из повседневного обихода, не сохранились и были утеряны, так как казалось, что они не представляют никакой ценности. Их возрождение с помощью 3D-технологий стало одной из интересных задач исследования. Например, прототипом игрушечной лошадки послужила деревянная лошадка, сделанная воспитанником детского дома в селе Красивке Тамбовской области в 2013 г. для участия в Покровской ярмарке. Если мальчик XXI в. смог вырезать из доски эту традиционную для тех мест игрушку, то куда более умелые в обработке дерева мужчины в 1940-х гг. легко могли порадовать ребенка чем-то подобным. Саму игрушку смоделировать оказалось несложно, но вот рисунок на ней уже не удалось воссоздать, поэтому она осталась неокрашенной.

Очень непросто в 3D-моделировании является создание «старых вещей», то есть воспроизведение на них потертостей, замысленности, царапин и др. Все эти эффекты в десятки раз увеличивают как саму работу, так и объем модели, что в дальнейшем сказывается на скорости ее просмотра в Интернете. Поэтому в доме большинство предметов новые, что

часто является объектом критики. Например, нередко критиковали входную немецкую дверь, окрашенную лаком, делая упор на нереальность такой «новой красивой двери» у советских переселенцев. Но здесь мы вынуждены были пойти на некий ряд условных ограничений, чтобы не потерять всю модель целиком

**Экстерьер дома.** За прототип дома взято жилище на окраине современного города Правдинска Калининградской области (бывший Фридланд), сохранившее не только внешний вид, но и планировку 1930-х гг., типичную для немецких зданий в сельской местности. Дом двухэтажный, из кирпича, оштукатурен, покрыт черепицей; площадь первого этажа (восстановлен в 3D) составляет 33 квадратных метра, здесь же имеются четыре окна и одна входная дверь, печное отопление, на второй этаж ведет деревянная лестница.

**Прихожая.** В доме смоделирована небольшая прихожая с минимумом полезной площади, так как из нее несколько дверей ведут в жилые комнаты и другие помещения. На стене висит велосипед. Некоторые переселенцы подтверждают такое хранение велосипеда в сельском доме. Свое почетное место заняла в прихожей трофейная детская коляска. На вешалке висит одежда, на стене — выбивалка для нее, а не для простых половиков, которые во время уборки просто трясли. Одежду изобразили далеко не новую. Даже оцифровали сильно поношенный головной клетчатый платок бабушки одного из авторов.

**Кухня** — не только место для приготовления еды, но и полифункциональное помещение в условиях тех времен. Прежде всего немецкая кухонная печка — это тепло в доме. В зависимости от температуры на улице в доме топится разное число печей. Когда в холод приходишь с улицы, то именно тепло кухни создает атмосферу домашнего тепла. Еще и пахнет вкусно. Особенно это чувствовалось в непогоду. У печки — кочерга и запас сухих дров.

Любой переселенец заботится о пропитании в дороге и на новом месте. Наверняка везли с собой кухонную посуду и утварь, искали что-то и на новом месте. Радовались красивым немецким трофеям, но были уверены в надежности привычных старых вещей. Для оцифровки посуды нашлось достаточно. Так как мы выбрали вариант немецкой печки с плитой, то

нельзя было использовать чугуны для русской печки — только кастрюли. На кухне нужна была и утварь, без которой не сварить обед, например, солонка. С трудом в Тамбове нашли токарную деревянную кухонную солонку-поставок, наподобие тех, которыми хозяйки пользовались для стряпни в больших семьях. Ее большая ручка была «ухватиста» при спешке, а ширина поставка позволяла взять соль хоть деревянной ложкой, хоть женской рукой.

На кухне семья могла буднично поесть. Поэтому здесь — простейшие предметы сервировки. Без ложек в дорогу не поедет никто. А тут родные деревянные ложки могли остаться и некоей ментальной связующей ниточкой. Мы выбрали самые простые, несувенирные ложки. Самовар воспринимался и как предмет необходимости, и как символ престижа. Если он был, то везли его на новое место жительства обязательно.

Озаботились мы запасами питьевой воды, местом и принадлежностями для умывания и бритья. Ведь кухня служила и для этого. И закупить хозяйину мы тоже предложили на кухне.

На плите кипятили белье. Именно кипячение в емкости, именуемой вываркой, было основным способом стирки в 1940–1950-е гг. Мы сочли естественным расположить предметы для стирки здесь же, на кухне. Тут же поместили и рубель для глажки нижнего и постельного белья. Натянули веревочки для сушки одежды. Следует помнить ту нехватку одежды, которую люди ощущали в рассматриваемый период. Нередко юбка, брюки, блузка, рубашка, в которых ходили на работу, а дети в школу, были единственными приличными вещами. Хозяйке приходилось стирать их в ночь, а уютить чуть свет. Не было избытка и младенческих вещей. Пеленки, кофточки и прочее тоже постоянно стиралось и снималось с веревочки для переодевания малыша сразу после сушки. Поэтому в непогоду их и сушили над еще теплой плитой. Да и промокший на полевых осенних работах ватник надо было как-то подсушить за ночь. Серьезный дефицит одежды и постельного белья в 1940-е гг. породил и воровство этих нужных вещей. Так что даже в солнечный день хозяйки остерегались сушить белье во дворе без присмотра. Что касается использования чердака, то для тамбовских уроженцев это совершенно непривычно. Тамошние сельские

избы чердака, как хозяйственного помещения, не имеют, а в мещанских городских домах он невысокий и темный. В Калининградской области советские переселенки, как и немки, в высоком чердачном помещении сушили постельное и нательное белье после регулярных стирок.

Отсутствие электричества в доме обозначено керосиновыми лампами.

При реконструкции калининградского сельского жилища спорным остается вопрос о керосиновых приборах для приготовления пищи. Керагаз, примус, керосинка в довоенной жизни СССР — предметы городские. Вряд ли в российском селе они были. Керосин в деревне использовали для освещения. Альтернативой варке пищи в большой печи была стряпня на загнетке на лучинках, а также в летней печурке во дворе. Иная ситуация могла быть в калининградском доме. Участникам проекта удалось найти примусы того периода, но старожилы вспоминают о керосинках. В смоделированном доме показан уже купленный примус, но участники проекта до сих пор не уверены, что переселенческая семья его использовала.

**Комната родителей.** В комнате родителей с младенцем мы поставили кровати, застелив большую кровать традиционным для центральных российских регионов лоскутным одеялом. Убранство вокруг кровати смешанное — от деревенского полотенца до трофейного гобелена. Исходили из того, что хочется хозяйке уюта в этом, пока обживаемом доме.

Мы также предположили, что здесь же женщине удобно заниматься починкой одежды и шитьем, поэтому в комнате имеются и швейная машинка, и деревянный грибок, который захватили с родной стороны. На какой-то ярмарке он был куплен и служил при постоянной штопке быстрохудящихся чулок и носков. Прядение — необходимое домашнее ремесло того времени, поэтому и самопряжу поставили в это же помещение. В углу поместили сундучок с готовыми рукоделиями и памятными вещами, отрезами ткани.

На немецком шкафу лежит чемодан. Фронтвики нередко возвращались домой с немецкими чемоданами, стараясь прихватить домой хоть что-то из доступных трофеев. Вот и пригодился он для переезда. На дверке шкафа висит наглаженное нагревающимся на плите утюгом нарядное шелковое платье. Ткани были сильно

мнущиеся. Да и молода еще наша хозяйка, хочет пройтись красавицей.

На стенах размещены портреты дорогих родных. Без них невозможно представить ни сельский, ни городской дом той поры. А тут тем более, в разлуке с близкими.

Все малыши мира играют на полу, поэтому в комнате постелили половики и расставили простенькие деревянные игрушки.

**Зал и спальня.** Вторая жилая комната совмещает функции зала и спальни старшей девочки. В этой комнате могут бывать чужие люди, поэтому она несет основную политическую нагрузку в виде портрета и бюста И. В. Сталина, плаката. Подобные бюсты могли вручаться к каким-то праздникам, типа 30-летия Октября, передовикам социалистического соревнования и т. п. В этой же комнате разложены газеты и журналы. Подписка на газеты была обязательной, а обладание журналом — весьма престижным.

Своеобразный «музыкальный центр» в виде патефона и радиоприемника тоже находится в этой комнате. На столе лежит потрепанный песенник. Люди тех лет не обходились без песен, охотно собирались не столько ради застолья, которое могло быть скудным, сколько ради общения. Вот и на баяне хозяин играет. Кроме того, предложили мы главе семьи сыграть в шашки, положив коробку с ними на стол. Игра нехитрая и вполне распространенная.

Девочка спит в этой комнате. Мать позаботилась об уюте и престиже, повесив здесь еще один гобелен, вполне распространенный, с семейством оленей. А вот застелить кровать мы решили типичным покрывалом — летним одеялом тех лет. В Тамбовской области их называли каньевыми одеялами. Искать его пришлось долго. В итоге в Тамбове нашли очень изношенное, зато подлинное одеяло. Сама девочка приколола вырезанные откуда-то портреты любимых киноактеров. Ведь кино — любимое развлечение того поколения.

В качестве письменного стола использовали трофейный стол из пасторского дома, воссозданный по экспонату, хранящемуся в музее города Озерска. Чтобы подчеркнуть использование перьевых ручек с анилиновыми чернилами, пришлось позаботиться и о кляксах. Тетрадки тоже несли политическую нагрузку в виде портретов вождей на обложке. Книги

на самодельных полках должны были отразить и политическую грамотность отца семейства, и учебу дочки. Ну а уж немецкая кукла была желанна всем девочкам, советские не были исключением. Налаженная немецкая игрушечная индустрия с XIX в. была законодательницей кукольных мод, прекрасно чувствуя симпатии хозяек. Мальчишки и мужчины могли быть агрессивны к трофейным куклам, но женский пол их любил. К дорогой кукле наверняка относились бережно. Какая-то шкатулочка на полке тоже отражение жизни девчонки-подростка.

Статуэтки на комодке — предметы престижа хозяйки, как и салфетки, скатерть и прочее тканевое убранство. Настенные часы с боем тоже очень желанная вещь. Не ходики какие-нибудь, а часы!

## Заключение

В рамках проекта с помощью технологии трехмерного моделирования на основе вещественных музейных и документальных архивных источников создана уникальная модель сельского дома первых советских жителей Калининградской области. Участники проекта постарались в вещах выразить не только повседневность, но и чувства, вкусы, амбиции членов семьи, поселившихся в одном из колхозов региона. В дальнейшем планируется создание переселенческого поселка, представляющего разные варианты домов, их планировки, компоновки мебели, печей и т. д.

Для студентов вузов в данный момент разрабатывается учебный курс, посвященный возможностям виртуального моделирования для сохранения памяти об утраченных объектах историко-культурного наследия. Обучающиеся смогут получить не абстрактное представление о продуктах 3D-реконструкций, а сформировать его на примере предметов и строений, использовавшихся на территории родного края.

Виртуальная модель дома, созданная в НИЦ СГИ, уже используется в музейной работе. Гусевский историко-краеведческий музей им. А. М. Иванова демонстрирует ее как часть мультимедийной экспозиции на выставках «Переселенцы — путь в новую жизнь» и «Это наша с тобою земля. 75 лет Калининградской области».

## Список источников

- Благоустройство семей колхозников-переселенцев // Калининград. правда. 1946. 13 дек. С. 4.
- Бородкин Л. И. Технологии 3D-моделирования и виртуальной реальности в проектах реконструкции исторических городских ландшафтов // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. Вып. 3 (89), т. 11. URL: <https://arxiv.gaugn.ru/s207987840009391-9-1/> (дата обращения: 09.09.2021).
- В начале нового пути: Документы и материалы о развитии Калининградской области в годы деятельности чрезвычайных органов управления (апрель 1945 — июнь 1947) / сост. В. Н. Маслов. Калининград : ИП Мишуткиной И. В., 2004.
- Виртуальная реконструкция историко-культурного наследия в форматах научного исследования и образовательного процесса : сб. науч. ст. / под ред. Л. И. Бородкина, М. В. Румянцева, Р. А. Барышева. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2012.
- Вязинкин А. Ю., Двухжилова И. В. К вопросу об историко-культурной значимости виртуальных реконструкций «мест памяти» // Урбанистика. 2019. № 4. С. 44–50. URL: [https://nbpublish.com/library\\_read\\_article.php?id=31495](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31495) (дата обращения: 22.08.2021).
- Вязинкин А. Ю., Ливенцев А. Ю. Культурно-историческая память и реконструкция исторических событий // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики : сб. докл. Международ. науч.-практ. конф. : в 6 т. / отв. ред. С. Н. Борисов, И. Е. Белогорцева, С. И. Маматова. Белгород, 2017. С. 140–142.
- Калининградцы: Киноочерк о Калининградской области / реж. Г. Левкоев, оператор Г. Епифанов. М. : Центр студия документ. фильмов, 1949.
- Касьянов В. В., Чупрынников С. А. Историческая память, социальная память: диалектика взаимодействия // Вестн. Адыг. гос. ун-та. Сер. 1 : Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2020. № 4 (269). С. 54–61.
- Марков И. «Ночью в дом пришла косуля, а мама подумала, что немец с автоматом» // Комсомольская правда: Прил. Комсомольская правда в Калининграде. 2020а. 1–8 окт. С. 24.
- Марков И. «Немецкий мальчик ругал нас крепким русским матом» // Комсомольская правда Калининград. 2020б. 22–29 окт. С. 36.
- Наталич И. С. Очерки о новой родине: сборник воспоминаний первых переселенцев Полесского района, 1946 год. Калининград : Центр Печати, 2015.
- Первые переселенцы — детям XXI века: [сборник воспоминаний] / сост., ред. Т. В. Захарюгина. Калининград : Б. и., 2016.
- Репина Л. П. Память и наследие в «Крестовом походе» против истории, или Рождение «мемориальной парадигмы» // Урал. ист. вестн. 2021. № 2 (71). С. 6–16.
- Ростовцев Е. А., Сидорчук И. В. Музей и историческая память в современной России // Вопр. музеологии. 2014. № 2 (10). С. 16–21.
- Steinmetz G. Grundlagen für das Bauen in Stadt und Land. 2 Bd. : Ostpreußen. Berlin-München : Callwey, 1917.

## References

- Blagoustroistvo semei kolkhoznikov-pereselentsev (1946, December 13) [Improvement of families of migrant collective farmers]. *Kaliningradskaya Pravda*, 4.
- Borodkin, L. I. (2021). Tekhnologii 3D-modelirovaniya i virtual'noi real'nosti v proektakh rekonstruktsii istoricheskikh gorodskikh landshaftov [3D modeling and virtual reality technologies in projects for the reconstruction of historical urban landscapes]. *Elektronnyi nauchno-obrazovatel'nyi zhurnal «Istoriya»*, 3(89), 11. URL: <https://arxiv.gaugn.ru/s207987840009391-9-1/> (mode of access: 09.09.2021).
- Kaliningradtsy. Kinoocherk o Kaliningradskoi oblasti* (1949) [Residents of Kaliningrad / Kinoocherk about the Kaliningrad region]. Rezhisser G. Levkoev; operator G. Epifanov. M.: Tsentral'naya studiya dokumental'nykh fil'mov.
- Kas'yanov, V. V., Chuprynnikov, S. A. (2020). Istoricheskaya pamyat', sotsial'naya pamyat': dialektika vzaimodeistviya [Historical memory, social memory: the dialectic of interaction]. *Vestnik Adygeiskogo gosudarstvennogo universiteta*. Seriya 1: Regionovedenie: filsofiya, istoriya, sotsiologiya, yurisprudentsiya, politologiya, kul'turologiya, 4(269), 54–61.
- Markov, I. (2020a, October 1–8). «Noch'yu v dom prishla kosulya, a mama podumala, chto nemets s avtomatom» [«At night a roe deer came to the house, and my mother thought that a German with a machine gun»]. *Komsomol'skaya pravda: Pril. Komsomol'skaya pravda v Kaliningrade*, 24.
- Markov, I. (2020b, October 22–29). «Nemetskii mal'chik rugal nas krepkim russkim matom» [«German boy scolded us with strong Russian obscenities»]. *Komsomol'skaya pravda Kaliningrad*, 36.
- Natalich, I. S. (2015). *Ocherki o novoi roдинe: sbornik vospominanii pervykh pereselentsev Poleskogo raiona. 1946 god* [Essays on the new homeland: a collection of memoirs of the first settlers of the Polesie region. 1946 year]. Kaliningrad: Tsentr Pechati.
- Pervye pereselentsy — detyam XXI veka* [sbornik vospominanii] (2016) [The first settlers for children of the XXI century] / sost., red. T. V. Zakharyugina. Kaliningrad: [b. i.].
- Repina, L. P. (2021). Pamyat' i nasledie v «Krestovom pokhode» protiv istorii, ili rozhdenie «memorial'noi paradigmy» [Memory and legacy in the “Crusade” against history, or the birth of the “memorial paradigm”]. *Ural'skii istoricheskii vestnik*, 2(71), 6–16.
- Rostovtsev, E. A., Sidorchuk, I. V. (2014). Muzei i istoricheskaya pamyat' v sovremennoi Rossii [Museum and historical memory in modern Russia]. *Voprosy muzeologii*, 2(10), 16–21.
- Steinmetz, G. (1917). *Grundlagen für das Bauen in Stadt und Land*. 2. Band: Ostpreußen. Berlin-München: Callwey.

*V nachale novogo puti. Dokumenty i materialy o razvitii Kaliningradskoi oblasti v gody deyatel'nosti chrezvychainykh organov upravleniya (aprel' 1945 — iyun' 1947)* (2004) [At the beginning of a new path. Documents and materials on the development of the Kaliningrad region during the years of the emergency management bodies (April 1945 — June 1947)] / sost. V. N. Maslov. Kaliningrad: Individual'noye predpriyatiye Mishutkinoy I. V.

*Virtual'naya rekonstruktsiya istoriko-kul'turnogo naslediya v formatakh nauchnogo issledovaniya i obrazovatel'nogo protsessa* (2012) [Virtual reconstruction of historical and cultural heritage in the formats of scientific research and educational process]: sb. nauch. st. / pod red. L. I. Borodkina, M. V. Rumyantseva, R. A. Barysheva. Krasnoyarsk: Sibirskii federal'nyi universitet.

Vyazinkin, A. Yu., Dvukhzhilova, I. V. (2019). K voprosu ob istoriko-kul'turnoi znachimosti virtual'nykh rekonstruktsii «mest pamyati» [On the issue of the historical and cultural significance of virtual reconstructions of “places of memory”]. *Urbanistika*, 4, 44–50. URL: [https://nbpublish.com/library\\_read\\_article.php?id=31495](https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=31495) (mode of access: 22.08.2021).

Vyazinkin, A. Yu., Liventsev, A. Yu. (2017). Kul'turno-istoricheskaya pamyat' i rekonstruktsiya istoricheskikh sobytii [Cultural and historical memory and reconstruction of historical events]. *Nauka. Kul'tura. Iskusstvo: aktual'nye problemy teorii i praktiki*. Sbornik dokladov Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii. V 6 tomakh. Otv. red. S. N. Borisov, I. E. Belogortseva, S. I. Mamatova. Belgorod: Institut povysheniya kvalifikatsii Belgorodskogo gosudarstvennogo instituta iskusstv i kul'tury, 140–142.

### Сведения об авторе

**Баранова Елена Вячеславовна** — кандидат исторических наук, директор Научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики, доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград, Российская Федерация

**Маслов Виталий Николаевич** — кандидат исторических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики, старший научный сотрудник Института геополитических и региональных исследований, доцент Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета им. И. Канта, Калининград, Российская Федерация

**Орлова Вера Дмитриевна** — кандидат исторических наук, Тамбов, Российская Федерация

**Вклад авторов:** все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации.

*Статья поступила в редакцию 15.07.2021;  
одобрена после рецензирования 31.08.2021;  
принята к публикации 15.09.2021*

### Information about the author

**Elena V. Baranova** — Cand. Sci. (History), Director of the Research Center for Social and Humanitarian Informatics, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation

**Vitaly N. Maslov** — Cand. Sci. (History), Researcher of the Research Center for Social and Humanitarian Informatics, Senior Research Officer of the Institute for Geopolitical and Regional Studies, Associate Professor, Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad, Russian Federation

**Vera D. Orlova** — Cand. Sci. (History), Tambov, Russian Federation

**Contribution of the authors:** the authors contributed equally to this article.

*The article was submitted 15.07.2021;  
approved after reviewing 31.08.2021;  
accepted for publication 15.09.2021*

# МЕТАМОРФОЗЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Научная статья  
УДК 17.035.3 + 801.73 + 82.09 + 930.23  
doi 10.15826/tetm.2021.2.013

## Конструктивизм и проблема ответственности

Василий Николаевич Сыров<sup>1</sup>, Елена Васильевна Агафонова<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Томский государственный университет, Томск, Россия

<sup>1</sup>narrat@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5498-4610>

<sup>2</sup>agaton1810@gmail.com

**Аннотация.** В статье на основе анализа способов построения исторических нарративов рассматривается проблема соотношения исследовательских стратегий (реализм/конструктивизм) и ответственности автора нарратива за произведенную продукцию. Утверждается, что именно конструктивистская стратегия обеспечивает наиболее перспективный путь решения проблемы, поскольку предполагает производство высказываний от первого лица как способ отделения традиции от новации и строится на коммуникативном отношении как способе определения надежности высказываний. Отмечается, что описанные выше процедуры можно считать необходимыми инструментами реализации и демонстрации принятия на себя ответственности за сделанные высказывания, а их отсутствие следует трактовать как явный или неявный отказ от ответственности.

**Ключевые слова:** конструктивизм, реализм, ответственность, исторический нарратив, имплицитный нарратор, эксплицитный нарратор

**Для цитирования:** Сыров В. Н., Агафонова Е. В. Конструктивизм и проблема ответственности // Tempus et Memoria. 2021. Т. 2, № 2. С. 56–64. <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.013>.

**Благодарности:** исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00421).

Original article

## Constructivism and the Problem of Responsibility

Vasilij N. Syrov<sup>1</sup>, Elena V. Agafonova<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Tomsk State University, Tomsk, Russia

<sup>1</sup>narrat@inbox.ru, <https://orcid.org/0000-0002-5498-4610>

<sup>2</sup>agaton1810@gmail.com

**Abstract.** Based on the analysis of the methods of constructing historical narratives, the article examines the problem of the relationship between research strategies (realism/constructivism) and the responsibility of the author of the narrative for his product. It is argued that the constructivist strategy provides the most promising way to solve the problem, since it involves the production of statements in the first person as a way to separate tradition from innovation. Constructivist strategy is also built on a communicative relationship as a way to determine the reliability of statements. The above procedures can be considered necessary tools for the implementation and demonstration of taking responsibility for one's own discourse, and their absence should be interpreted as an explicit or implicit disclaimer.

**Keywords:** constructivism, realism, responsibility, historical narrative, implicit narrator, explicit narrator

**For citation:** Syrov, V. N., Agafonova, E. V. (2021). Konstruktivizm i problema otvetstvennosti [Constructivism and the Problem of Responsibility]. *Tempus et Memoria*, 2, 2, 56–64. (In Russ.). <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.013>.

**Acknowledgments:** the study was supported by a grant from the Russian Science Foundation (project № 19-18-00421).

На первый взгляд кажется, что тема в основном носит надуманный характер. Ведь если целью исследовательской деятельности является поиск истины, то ответственность за высказывания следует считать структурным элементом производимого знания. Вернее, кажется, что нет нужды специально ставить вопрос об ответственности, поскольку сама принадлежность к институту, сущность которого конституирована стремлением к истине, санкционирует действия каждого отдельного ее представителя и избавляет его тем самым от необходимости размышлять об ответственности за свои высказывания.

Резонно предположить, что такой подход, фактически снимающий с отдельного члена сообщества ответственность за сделанные высказывания и обосновывающий правомерность такого снятия отсылкой принадлежности к институту (поскольку принадлежность к институту гарантирует истинность высказываний или притязаний на истинность), обусловлен определенной эпистемологией. Она строится на убеждении, скорее имплицитном, что истинность знания гарантируется самим

миром. Мир, так сказать, проверяет наши представления. Соответственно гарантией такого положения дел становится своеобразная настроенность познающего субъекта. Суть ее в логичности и рациональности. Иначе говоря, если субъект логичен и рационален в своих действиях, то он стоит на правильном пути. Причем, как отметил Дэвид Блур, «успешная и общепринятая интеллектуальная деятельность является самоочевидной и самоиницирующей. Она становится собственным объяснением» [Блур, 198]. По этому поводу Блур приводит хороший иллюстрирующий пример. Если поезд сошел с рельсов, то мы ищем причины, почему так произошло, «однако у нас нет ни нужды, ни необходимости исследовать, почему аварии не происходят» [Там же].

С этой позиции стоит полагать, что победившее знание или победившая теория является истинной, а истинность определяется соответствием ее положений чертам самой реальности. Можно назвать такую парадигму реалистской и считать, что есть прямая связь между исходными принципами такой парадигмы и способами ее реализации. Иначе

говоря, вера в отражение свойств самой реальности должна определять или влиять на форматы познавательной деятельности. Более того, стоит ожидать, что они будут имплицитно или эксплицитно отождествляться с природой научного знания или познания как такового, а знание — с устройством самого окружающего мира.

Мы не будем обращаться к анализу характера познавательной деятельности в естественных науках, предоставив осуществление этой задачи специалистам в данной области и оставив за собой лишь убеждение в правильности провозглашенной выше методологической установки. Более того, оставим за пределами внимания основной корпус социально-гуманитарных наук. Отметим лишь любопытную статью Кеннета Джерджена, где он пытается идентифицировать главные формы дискурса, которые наделяются привилегированным статусом в гуманитарных науках, и те традиции авторитетности, которые их питают [Джерджен, 179]. Автор выделяет «четыре модальности традиционного голоса: мистическую, мифическую, пророческую и цивилизованную [Там же, 180]. Понятно, что речь идет о так называемых риторических стратегиях (а не о мистических или пророческих текстах в буквальном смысле слова). Примечательны наблюдения Джерджена о способах реализации этих стратегий (особенно первых трех): они предполагают дистанцию в форме иерархии между автором и читателем, где автор позиционирует себя как всеведущего повествователя, а публику — как непросвещенную и где текст подается в форме безличного монолога [Там же, 183–184]. Джерджен отмечает, что, конечно, более доминирующей и современной формой дискурса становится так называемый цивилизованный дискурс, весьма соответствующий по построению принципам научного этоса, сформулированным Робертом Мертоном. Но автор полагает, что и этот тип дискурса, по сути, имплицитно, но реализует иерархическую позицию, поскольку трактует читателя как конкурента в борьбе за власть, престиж, истину [Там же, 189–190].

Джерджен констатирует появление новых модальностей в научном дискурсе, которые пытаются порвать с иерархически и монологически построенными исследовательскими

традициями. В качестве примера он приводит автобиографический и беллетристический жанры. Однако автор отмечает, что зачастую вводимая диалогическая форма фактически распадается на сумму многообразных и фрагментированных голосов, где читателю предлагается либо отождествиться с опытом автора, либо добавить свой голос к многообразию самодостаточных мнений (что-то в духе трактовки диалога у Бахтина) [Джерджен, 197]. Джерджен отмечает при этом, что ироническая дистанция, сотворенная беллетристическим модусом, показывает, что сотворенный им мир не стоит воспринимать всерьез [Там же]. Полагаем, что то же самое можно сказать и по поводу полифонии, если она сводится лишь к многоголосию мнений.

Резонно утверждать, что, несмотря на кажущуюся противоположность, все вышеперечисленные модусы, по сути, предполагают снятие ответственности автора за сделанные им высказывания. В первых четырех модусах это происходит потому, что голос автора отождествляется, причем в достаточно агрессивной манере, с голосом самого бытия или самой истины, чему способствует безличная манера повествования. В последних случаях ответственность снимается, так как автор и не претендует на истину, довольствуясь высказыванием лишь мнения.

Размышления Джерджена можно рассматривать как конкретизированные методологические указания по поводу трактовки дискурсов гуманитарных наук. Мы же обратим внимание на некоторые аспекты исторического письма. Представляется, что в свете растущего и постоянно подогреваемого интереса к прошлому его анализ приобретает особую актуальность. Правомерно утверждать, что в профессиональном сообществе в той или иной мере по сей день сохраняется убеждение в оправданности использования определенного формата исторического письма. Передается он, так сказать, по традиции, в частности, через требования, явно или неявно предъявляемые к написанию квалификационных сочинений всякого рода и уровня. Можно назвать его нарративом повествовательного типа или традиционным нарративом. Резонно также ожидать, что он будет обладать определенными чертами или тяготеть к ним. Суть их хорошо выражена

в тезисе Луиса Минка о «нерассказанной истории». Подход с этой точки зрения «состоит в том, чтобы открыть такую нерассказанную историю или часть ее и пересказать ее пусть в сокращенной или отредактированной форме. ...Понятое подобающим образом, повествование о прошлом нуждается только в том, чтобы быть переданным, а не сконструированным» [Mink, 188].

Прежде всего такой нарратив будет тяготеть к определенной организации материала. Переданность будет воплощаться в его подаче более в манере повествовательной или описательной, нежели в форме рассуждения и демонстрации последовательности доказательств того или иного тезиса. Поэтому такой нарратив будет тяготеть к тематической или хронологической организации текста. Организовывать текст тематически — значит подавать его в виде совокупности и последовательности утверждений или положений, которые предполагают их развертывание (например, сначала про это, потом про то) и где используемый эмпирический материал более предстает иллюстрацией тех или иных положений, чем их доказательством, а полнота доказательной части зачастую сводится к обилию сносок на источники. Как правомерно отметил Анкерсмит, писать на тему — значит пытаться создать нарратив, «корректно сообщающий всякую мало-мальски ценную информацию, содержащуюся в архивах по тому или иному аспекту прошлого» [Анкерсмит, 83].

Повествовательная манера, как правило, будет выражаться в стремлении подавать объекты прошлого так, как будто такими они и были на самом деле. Это проявляется в намеренном стирании всех знаков авторского присутствия, ибо полагается, что явный голос автора (в виде фраз «я считаю», «я выдвигаю гипотезу») воплощает субъективное начало. В итоге плоды работы историка предстают продуктом «так называемой референциальной иллюзии, поскольку историк здесь делает вид, будто предоставляет говорить самому референту» [Барт, 432]. Если использовать язык нарратологии, то «референциальная иллюзия» будет выражаться в высказываниях от третьего лица и в использовании фигуры имплицитного, безличного, но всеведущего и вездесущего нарратора (по типу «сражение состоялось

в таком-то году», а не «я полагаю, что сражение состоялось в таком-то году»). Иначе говоря, предполагается, что слово как бы дается самой реальности, предоставляя истории возможность течь самой по себе, в чем, по мнению сторонников такого дискурса, и воплощается требование писать, как было на самом деле. Потому в таком тексте отсутствуют маркеры акта высказывания типа «логично предположить», «по-нашему (или по-моему) мнению данные аргументы неубедительны, потому что...», «следовательно», «наша гипотеза подтверждается тем-то и тем-то» и т. д. Если же подобные моменты и имеют место, то выглядят разрывом в плавном течении повествования. В итоге продукт, порожденный таким повествовательным форматом, страдает монологичностью и существует как бы в вакууме, поскольку, как правило, лишен знаков дискуссионности, полемичности, репрезентации собственных аргументов и анализа контраргументов оппонентов, а значит, включенности в диалог с предшественниками и последователями.

Резонно предположить, что само использование такого формата блокирует правомерное желание исследователя проявить креативность, поскольку использование фигуры вездесущего нарратора, говорящего от третьего лица, не дает ему возможности отсортировать и маркировать всю совокупность сделанных высказываний: какие из них являются проявлением авторского начала, а какие относятся к использованию общепринятых повествовательных кодов. Как следствие, такое положение дел усложняет решение вопроса о выборе и предпочтении одной версии нарратива другой, поскольку в самом тексте стерты знаки сравнения одного нарратива с другим в виде экспликации аргументов или контраргументов, а историографический обзор сведен к формальному перечислению совокупности мнений предшественников (и соответствующим формам их представления типа «А считал так-то, а Б считал так-то»). Фактически такой текст становится рассчитанным лишь на узкий круг специалистов в теме, которые для опознания соотношения новизны и традиции вынуждены помещать его в контекст, имплицитно присутствующий в их сознании.

Такой способ нарративизации мы можем интерпретировать как реализацию процедуры

избавления от ответственности за сделанные высказывания. Не обязательно она носит намеренный характер, но объективно становится таковой. Если автор в лице нарратора не говорит от первого лица, не отделяя тем самым высказывания, которые демонстрируют его собственный вклад в обсуждение темы, от высказываний, в которых проявляется его солидарность с традицией, то читатель оказывается разоруженным. Либо он должен приписать ему ответственность за весь текст, либо трактовать его в целом как информационный шум. Соответственно можно утверждать, что самой своей организацией такой нарратив будет блокировать новаторские возможности и потребности исследователя. Говоря более категорично, он будет форматировать не только текст, но и направление мысли исследователя. Поэтому даже если бы автор хотел взять на себя ответственность, а ее реализация подразумевает экспликацию авторской позиции, то повествование от третьего лица не позволило бы ему это сделать.

Можно отдельно выделить два взаимосвязанных обстоятельства, благоприятствующих безличности изложения и равнодушию сообщества к проблеме ответственности за сделанные высказывания. Прежде всего это реалистская установка. Она подразумевает, что исследователь не трактует свои действия как диалог с членами сообщества, что требовало бы соответствующей организации текста. Он воспринимает себя как транслятора продукта, уже в готовом виде содержащегося в некоей объективной реальности (нерассказанная история). Более того, собственные действия видятся ему как внесение некоторого вклада (по принципу часть — целое) в большую картину, а свое существование — как растворенность в большом монолитном отряде, где, по сути дела, безответственны все и где ответственность перелagается на само прошлое (ничего не подделаешь, такой объективно была сама история). Фактически в таком виде тезис об ответственности становится лишь идеологией с сомнительными способами ее обоснования.

Вспомнив Джерджена, можно утверждать, что если великих историков XIX в. действительно можно было трактовать как пророков, предсказывающих назад и пишущих в соответствующей манере, то к настоящему времени

таким пророком оказывается совокупный субъект. Правда, доверие к пророческому модусу изложения оказывается изрядно подорванным, да и не соответствующим этосу научного сообщества, потому основанием для его сохранения внутри сообщества остается лишь академическая сухость и эмпирическая приземленность текстов. Хотя в собственных глазах сообщества (да и для существенной части внешних читателей) пророческая функция вполне может восприниматься как миссия и даже актуализироваться в связи с участвовавшими упреками извне по поводу надежности производимой продукции.

Вторым фактором, усиливающим эту своеобразную коллективную безответственность, является ситуация сохраняющейся замкнутости и непроницаемости как самого сообщества, так и производимой им продукции, адресатом которой остается данное профессиональное сообщество. Отсутствие обратной связи, особенно извне, лишало и лишает авторов возможности определить, какой эффект производит создаваемая ими продукция. Поэтому пишущий остается равнодушным к последствиям, порождаемым его письмом, поскольку все равно ничего о них не знает. Но он вполне может обосновывать такое равнодушие либо требованиями научного этоса (требование беспристрастности, к примеру), либо общей непросвещенностью читающей публики, недоросшей до правильного понимания.

Конечно, к настоящему времени картина весьма существенно изменилась. В социальном плане скорее можно говорить о трактовке научного сообщества в свете тезиса Ульриха Бека о феодализации науки и воспринимать ее как многоголосие научных дискурсов, но не в плане содержания, а в плане принципов его организации. Развитие цифровых технологий серьезно подрывает монополию сообщества (в первую очередь производителей социально-гуманитарного знания) на производство знания и особенно доверие к нему. Читатель комментариев к тем или иным историческим сюжетам, транслируемым в социальных сетях, может с ужасом обнаружить, как отозвалось его слово как представителя профессионального сообщества. Следует заметить, что своеобразной реакцией заинтересованного потребителя на общую утрату доверия к нарративам,

производимым научным сообществом, стало возрождение весьма архаических практик доверия к исторической информации: сведение к факту (вернее к тому, что кажется фактом), отрицание интерпретаций, восстановление статуса первоначального свидетеля (родители говорили, бабушка или дедушка сами видели, лично знал). Кроме того, постмодернистский поворот, начавшийся еще с конца XX в. и направленный на критику доминирующих научных дискурсов, способствовал усилению общей атмосферы сомнения в глазах самого сообщества в легитимности сложившихся исследовательских практик и общей идеологии науки.

Соответственно критика сопровождалась поиском более приемлемых форматов производства знания. Теперь, кстати, мы получаем еще один критерий их оценки, а именно взгляд с позиций гарантии ответственности. В рассуждениях о способах преодоления традиционных форм исторической наррации в свое время стали распространенными призывы более интенсивно использовать современные литературные эксперименты, рассказывать истории с разных точек зрения, эксплицировать роль нарратора и т. д. [Burke, 308–315]. Поиск путей наведения мостов между конкурирующими версиями истории стал связываться с мультиперспективным видением или равноправным представлением альтернативных или множественных трактовок [Bevernage, 76]. Стало популярным рассуждение о так называемых подвижных продуктах, «которые сочетают в себе черты обыденного и специализированного знания, как они создают между этими двумя зонами колоссальное поле, в котором формируется т. н. “гибридное знание”, как в подвижных цифровых форматах чаще всего соединяются сегменты обыденного, повседневного знания и осколков специализированного...» [Хут, 147].

Рискнем утверждать, что подобного рода подходы следует рассматривать либо лишь как предварительные стадии в выработке новых форматов, либо как исследовательскую ловушку, которую можно охарактеризовать известным выражением «пытаться влить молодое вино в ветхие мехи». Ведь можно множить количество альтернативных нарративов, но сохранение традиционных форматов их

написания будет создавать в глазах читателя лишь эффект умножения количества безответственных мнений. Поэтому попробуем выдвинуть тезис: только на конструктивистском пути можно надеяться на выработку более-менее продуктивной методологии, обеспечивающей перспективу решения обсуждаемой проблемы.

Если попытаться дать сжатую трактовку предлагаемой нами версии конструктивизма, то она звучала бы следующим образом. Конструктивизм строится на (обоснованном) убеждении, что объект исследования создается самим исследователем (или сообществом) в форме теории или нарратива, а не извлекается им из некоторой внешней среды («объективной реальности»). Как следствие, критерием надежности созданного продукта (теории, нарратива) становится не его соответствие внешнему референту, а сопоставление с другими такими же продуктами. Тогда критерием выбора между ними следует считать полноту и разнообразие приводимых рациональных аргументов, а не комплекс риторических приемов. Тогда же стоит признать, что практика доказательства, реализуемая конструктивизмом, должна носить коммуникативный характер, а именно строиться в расчете на рационально мыслящего адресата (члена научного сообщества прежде всего). Иначе говоря, коллеги, а не так называемая объективная реальность, будут выступать судьей нарративов.

Стоит оговорить некоторые аспекты, связанные с трактовкой статуса конструктивизма. Прежде всего речь пойдет об эпистемологии или об убеждении, что мы имеем и можем иметь дело лишь с формами нашего знания. Поэтому конструктивизм — это не утверждение о содержании знания, что этносы конструируются, к примеру, что нужно дать слово объектам и т. д. Это утверждение, что правомернее рассуждать лишь о знании, а не о некоей объективной реальности. Опять-таки конструктивизм — это не солипсизм. Он вполне признает коллективный характер познания просто потому, что сторонникам такого подхода теория коллективного познания представляется более убедительной, более согласуется с эмпирическим материалом, дает больше продуктивных следствий, порождает меньше негативных следствий и т. д. Поэтому движение к конструктивизму, позволяющее избавиться от подобного

рода дискуссий, начинается снизу, а не сверху, то есть не с его постулирования, а с обсуждения эпистемологических проблем, предлагаемый путь решения которых подталкивает к выдвиганию конструктивистских гипотез.

Соответственно конструктивизм — это не утверждение, что все вещи существуют только в отношении к нам. Как отмечает Андре Кукла, «такой конструктивизм приводит к причудливому выводу, что мир не существовал до человеческого существования» [Kukla, 46]. Представляется, что подобного рода утверждения основаны на смешении онтологии и эпистемологии или реализма и конструктивизма. Иначе говоря, когда смешиваются высказывания типа «некто думает, что...» и «дела обстоят так-то и так-то». Но одно дело полагать, что наше знание стоит трактовать как отношение, другое дело — утверждать, что «быть — значит быть в отношении». Последнее в лучшем случае имеет смысл лишь как некоторое возможное содержание нашего знания, которое требует такого же типа доказательств, как и альтернативная теория.

Стоит особо подчеркнуть, что последовательный конструктивист должен отрицать не только исходные принципы реализма, но также стиль мысли и язык, которым оперирует сторонник последнего. Так, высказывания типа «на самом деле все относительно», «не существует объективной реальности» чужды конструктивистскому подходу и заслуживают упрека в перформативном противоречии. Поэтому основной аргумент, который может и должен использовать конструктивист, это аргумент прагматический. Причем речь идет не о какой-то практической пользе, а об эвристической продуктивности. Представляется, что тогда схема конструктивистских рассуждений строилась бы следующим образом: этой теории (гипотезе) стоит отдать предпочтение, потому что она обладает большим эвристическим потенциалом, может связать в единое целое большее количество разнообразного и даже внешне противоречивого эмпирического материала, к примеру.

Соответственно можно утверждать, что конструктивизм лучше сочетается с релятивизмом, трактует его как изменяемость знания или как зависимость от избранной точки отсчета. Недаром, как заключают сами сторонники

реализма, «даже когда наши убеждения будут охватывать по существу все правильные ответы на все нетривиальные эмпирически отвечаемые вопросы, мы все равно не сможем обоснованно сказать, какие из наших нынешних убеждений преуспели в правильном описании внешнего мира», поскольку отсутствует процедура такого определения [Almeder, 226]. В сходной форме об этом говорит и Том Рокмор, когда подчеркивает, что нет способа отделить абсолютно объективные идеи от относительно объективных [Rockmore, 86]. Трудно сочетать тезисы об изменчивости знаний и в то же время о соответствии их «реальности», поскольку в такой ситуации утверждение о соответствии теряет любую свою (эпистемологическую, мировоззренческую) ценность, превращаясь в пустую риторическую фигуру.

Если еще говорить о преимуществах конструктивизма, то можно утверждать, что реализм ничего не прибавляет в собственно эпистемологическом плане. Иначе говоря, высказывание о том, что нечто верно, потому что соответствует реальности, выглядит избыточным довеском. Оно просто неинформативно, и отнюдь не потому, что проблематичен ответ на вопрос, как выглядит эта объективная реальность. Дело в том, что прагматистский подход по крайней мере заставляет нас искать процедуры демонстрации надежности знания, которые находятся в доступности для человеческого существа и которые можно обсуждать, поскольку есть предмет для обсуждения. Так можно показать, что стоит предпочесть эту теорию, потому что она производит больше интересных следствий. Но как показать, что одна теория лучше другой, потому что объективнее? Поэтому можно утверждать, что отбрасывание фразы «соответствовать реальности» все оставляет на своих местах, поскольку тезис о том, что теория подтверждается фактами, вполне согласуется с прагматизмом, а значит, не требует никакой прибавки. В мировоззренческом плане конструктивист мог бы утверждать, что заклинание объективной реальностью опасно еще и тем, что порождает напрасные иллюзии о возможности окончательных ответов.

Резонно утверждать, что конструктивистский подход требует определенной организации знания. Невозможно настаивать

на приверженности конструктивизму, не строя высказываний от первого лица. Кстати, в этом смысле можно говорить об изменении статуса отсылки к «мы». Такое «мы» становится не апелляцией к безликому сообществу вообще, а представлением результатов работы определенной школы, коллектива, исследовательской группы. Также невозможно реализовывать конструктивистский подход без отчетливого осознания и выстраивания коммуникативных отношений, а именно без ориентации на других и организации текста как совокупности процедур рационального убеждения.

Если это так, то можно утверждать, что принципы конструктивизма обеспечивают наиболее оптимальные условия для реализации ответственности за произведенное знание. Ведь ответственность обычно понимается как «ответственность за» и «ответственность перед кем». Следует отметить, что в коммуникации они оказываются нераздельно связанными и даже, более того, способствуют смещению вопроса о том, как должны быть связаны исследователи со своими объектами, к вопросу о том, как должны строиться отношения между участниками исследования [Heldke, Kellert, 366]. Выше отмечалось, что реализация конструктивистского проекта невозможна без реализации и определенной организации этого отношения. Более того, конструктивизм делает ответственность эксплицитной чертой и структурным элементом своего подхода самим актом позиционирования автора как «Я». Такое отношение, помимо прочего, позволяет конкретизировать и персонифицировать требование ответственности. Ведь в случае высказываний от третьего лица мы, по сути, будем иметь дело

как с коллективной безответственностью, так и с коллективной виной, где отдельный автор вынужден самим способом подачи материала отвечать за огрехи сообщества в целом. Автор, говорящий от первого лица, самим актом высказывания создает основания для определения и ограничения сферы своей компетентности и своего вклада.

В итоге мы имеем дело с комплексом взаимных обязательств, где автор берет на себя обязательство эксплицитно перечислить рациональных аргументов, пользоваться только им, быть восприимчивым к критицизму и быть в этом честным, а читатель берет на себя обязательство быть восприимчивым только к такому способу аргументации. Собственно говоря, в этом и состоит моральная ценность конструктивизма. Он заставляет профессиональное сообщество быть чувствительным к совершаемым высказываниям и быть готовым к однозначному ответу на вопрос об их принадлежности.

В завершение стоит отметить, что, конечно, в приведенных выше рассуждениях речь фактически шла о взаимоотношениях внутри профессионального сообщества. Постановка вопроса о расширении зоны ответственности за ее пределы порождает новые вопросы, в частности, о роли читающей публики для совершенствования самого знания [Heldke, Kellert, 369–370], о публичных функциях самого исследовательского сообщества. Но представляется, что широта и разнообразие вопросов не отменяют основного тезиса, что именно методология конструктивизма позволит наметить продуктивные пути их обсуждения и решения.

#### Список источников

- Анкерсмит Ф. Нарративная логика. Семантический анализ языка историков. М. : Идея-пресс, 2003.
- Барт Р. Дискурс истории // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / пер. с фр., вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 427–441.
- Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Парадигмы социологии знания : хрестоматия / под общ. ред. В. Л. Шульца. М. : Наука, 2007. С. 193–214.
- Джерджен К. Дж. Социальный конструкционизм: знание и практика : сб. ст. / пер. с англ. А. М. Корбута. Минск : БГУ, 2003.
- Хут Л. Р. История в цифровую эпоху: российские историки в условиях дигитализации исторического знания // Историки в поисках новых перспектив : коллектив. моногр. / под общ. ред. З. А. Чеканцевой. М. : Аквилон, 2019. С. 127–158.
- Almeder R. Blind Realism. An Essay on Human Knowledge and Natural Science. Rowman and Littlefield Publishers, Inc., 1992.

Bevernage B. Narrating Pasts for Peace? A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through 'Historical Dialogue' and 'Shared History' // *Ethos of History. Time and Responsibility* / ed. by St. Helgesson and J. Svenungsson. Berghahn Books, 2018. P. 71–93.

Burke P. History of events and the revival of narrative // *The History and Narrative Reader* / ed. by G. Roberts. Routledge, 2001. P. 308–315.

Heldke L. M., Kellert St. H. Objectivity as Responsibility // *Metaphilosophy*. 1995. Vol. 26, № 4. Oct. P. 360–378.

Kukla A. *Social Constructivism and the Philosophy of Science*. Psychology Press, 2000.

Mink L. *Historical Understanding*. Cornell Univ. Press, 1987.

Rockmore T. *On constructivist epistemology*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2005.

## References

Almeder, R. (1992). *Blind Realism. An Essay on Human Knowledge and Natural Science*. Rowman and Littlefield Publishers, Inc.

Ankersmit, F. (2003). *Narrativnaya logika. Semanticheskii analiz yazyka istorikov* [Narrative Logic. A Semantic Analysis of the Historian's Language]. M.: Ideya-press.

Bart, R. (2003). Diskurs istorii. In Bart R. *Sistema mody. Stat'i po semiotike kul'tury* [Fashion system. Articles on semiotics of culture] / per. s fr., vstup. st. i sost. S. N. Zenkina. M.: Izd.-vo im. Sabashnikovykh, 427–441.

Bevernage, B. (2018). Narrating Pasts for Peace? A Critical Analysis of Some Recent Initiatives of Historical Reconciliation through 'Historical Dialogue' and 'Shared History'. *Ethos of History. Time and Responsibility* / ed. by St. Helgesson and J. Svenungsson. Berghahn Books, 71–93.

Blur, D. (2007). Sil'naya programma v sotsiologii znaniya [The Strong Programme in the Sociology of Knowledge]. *Paradigmy sotsiologii znaniya: khrestomatiya / pod obshchei red. V. L. Shul'tsa*. M.: Nauka, 193–214.

Burke, P. (2001). History of events and the revival of narrative. *The History and Narrative Reader* / ed. by G. Roberts. Routledge, 308–315.

Dzherdzhen, K. Dzh. (2003). *Sotsial'nyi konstruktivizm: znanie i praktika. Sbornik statei* [Social constructionism: knowledge and practice] / per. s angl. A. M. Korbuta. Minsk: BGU.

Heldke, L. M., Kellert, St. H. (1995). Objectivity as Responsibility. *Metaphilosophy*, 26, 4. Oct., 360–378.

Khut, L. R. (2019). Istoriya v tsifrovuyu epokhu: rossiiskie istoriki v usloviyakh digitalizatsii istoricheskogo znaniya [History in the digital age: Russian historians in the context of the digitalization of historical knowledge]. *Istoriki v poiskakh novykh perspektiv. Kollektivnaya monografiya / pod obshchei redaktsiei Z. A. Chekantsevoi*. M.: Akvilon, 127–158.

Kukla, A. (2000). *Social Constructivism and the Philosophy of Science*. Psychology Press.

Mink, L. (1987). *Historical Understanding*. Cornell Univ. Press.

Rockmore, T. (2005). *On constructivist epistemology*. Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

## Сведения об авторах

**Сыров Василий Николаевич** — доктор философских наук, заведующий кафедрой онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Томского государственного университета, Томск, Российская Федерация

**Агафонова Елена Васильевна** — кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии, теории познания и социальной философии философского факультета Томского государственного университета, Томск, Российская Федерация

**Вклад авторов:** Е. В. Агафонова — 40%, В. Н. Сыров — 60 %.

## Information about the authors

**Vasily N. Syrov** — Doct. Sci. (Philosophy), Head of the Chair of ontology, Epistemology and Social Philosophy, Philosophical Faculty, Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

**Elena V. Agafonova** — Cand. Sci. (Philosophy), associate professor department of ontology, Epistemology and Social Philosophy, Philosophical Faculty, Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

**Contribution of the authors:** E. V. Agafonova — 40 %, V. N. Syrov — 60 %.

Статья поступила в редакцию 15.07.2021;  
одобрена после рецензирования 31.08.2021;  
принята к публикации 15.09.2021

The article was submitted 15.07.2021;  
approved after reviewing 31.08.2021;  
accepted for publication 15.09.2021

Научная статья

УДК 94:159.953 + 316.346.36 + 17.035.3 + 172

doi 10.15826/tetm.2021.2.013

## К проблеме оценивания в сфере культурно-исторической памяти

Дарья Анатольевна Бутейко<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Томский государственный университет, Томск, Россия

<sup>2</sup>Берлинский университет им. Гумбольдта, Берлин, Германия

buteikod@cms.hu-berlin.de

**Аннотация.** В данной статье будет рассмотрена практика оценивания в поле исторической памяти и ответственности. Будет показано, как происходит и кем производится оценивание, в каком контексте оно осуществляется.

Анализируя практику оценивания, мы попытаемся выявить различные категории, на которых базируется оценка в дискурсах исторической памяти и ответственности. Будет показана связь между концептуализацией оценивания и механизмами производства знания, а также с акторами, определяющими поле исторической ответственности, и их опытом.

**Ключевые слова:** оценивание, историческая память, исследование качества, граничные объекты, историческая ответственность

**Для цитирования:** Бутейко Д. А. К проблеме оценивания в сфере культурно-исторической памяти // Tempus et Memoria. 2021. Т. 2, № 2. С. 65–72. <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.014>.

**Благодарности:** подготовлено при поддержке гранта РФФИ 19-18-00421 «Проблема исторической ответственности: этико-нормативные основания, дискурсивные практики и медиарепрезентации».

Original article

## To the Problem of Evaluation in the Field of Cultural-Historical Memory

Dar'ya A. Buteiko<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>Tomsk State University, Tomsk, Russia

<sup>2</sup>Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany

buteikod@cms.hu-berlin.de

**Abstract.** This article will examine the practice of evaluation in the field of historical memory and responsibility. It will be shown how and by whom evaluation is done, and in what context it takes place.

Analyzing the practice of evaluation, we will try to identify the various categories evaluation in the discourses of historical memory and responsibility is based on. We will show the connection between conceptualization

of evaluation and mechanisms of knowledge production, as well as with the actors determining the field of historical responsibility and their experience.

**Keywords:** evaluation, historical memory, quality research, boundary objects, historical responsibility

**For citation:** Buteiko, D. A. (2021). K probleme otsenivaniya v sfere kul'turno-istoricheskoi pamyati [To the Problem of Evaluation in the Field of Cultural-Historical Memory]. *Tempus et Memoria*, 2, 2, 65–72. (In Russ.). <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.014>.

**Acknowledgments:** prepared with support from Russian Science Foundation Grant 19-18-00421, «The Problem of Historical Responsibility: Ethical and Normative Foundations, Discursive Practices, and Media Representations».

## Оценивание в контексте исторической памяти

Исследуя историческую память в России, мы часто сталкивались с взаимоисключающими оценками мер, предпринимаемых для увековечивания памяти жертв и выражения исторической ответственности. Возможно ли установить «правильные» критерии оценивания, могут ли сойтись на одних критериях различные акторы поля исторической памяти? Действительно ли нужны критерии оценки в этой сфере или попытка разложить память и ответственность на категории, разделить на измеряемые единицы и дать им оценку неосуществима?

В практике оценивания фактически неизбежен конфликт в силу двух обстоятельств:

1) невозможность конвертировать проживаемую и наблюдаемую реальность в «объективные» цифры. Так, оценивая работу музеев и мемориальных мест памяти о репрессиях, мы можем объективно зафиксировать количество посетителей или время, которое посетители потратили на осмотр экспозиции, гораздо сложнее нам будет передать их уникальный опыт. Те области, для описания и анализа которых мы будем использовать не только количественные, но и качественные методы, неизбежно будут интерпретированы по-разному, в зависимости от позиции и опыта автора исследования;

2) не только границы категорий, на основании которых проводится оценка, при ближайшем рассмотрении оказываются размытыми, но и сами категории формируются по-разному, в зависимости от того, в каком дискурсе они находятся. Опираясь на идеи Мишеля Фуко и метод дискурс-анализа [Foucault], мы понимаем историческую память как социально сконструированный феномен; структура,

система ценностей и знаний исторической памяти имеет свою специфику в разных дискурсах.

Полярно отличные оценки имплементации мер исторической ответственности в разных дискурсах мы видим на примере рецензий к выставке «Россия – моя история», созданной Патриаршим советом по культуре при поддержке Правительства РФ. Выставка под кураторством Тихона Шевкунова объединяет экспозиции «Романовы» (2013), «Рюриковичи» (2014), «1917–1945. От великих потрясений к Великой Победе» (2015) и «От Победы в Великой Отечественной войне до 2016 года» (2016). Первая экспозиция серии о 400-летию династии Романовых в московском Манеже, по словам ее куратора, ставила своей целью воспитание у посетителей чувства благодарности к династии, «за время правления которой территория страны значительно расширилась, а население выросло в 60 раз» [Объективный взгляд...]. Крупные российские медиа освещали «Романовых» как пример успешной современной исторической экспозиции [Раскина]. В своей оценке авторы опирались на такие показатели, как центральная локация, количество посетителей, среди которых были также высокопоставленные гости, общественно значимая дидактическая задача и наличие мультимедиальной составляющей.

Дальнейшим критерием успешности выставки мы можем считать ее трансформацию в полномасштабную сеть экспозиций, охватывающую различные исторические периоды. Однако в научной и активистской среде преобладала критическая оценка как первой, так и последующих экспозиций серии «Россия – моя история». Эксперты отмечали политическую окрашенность выставочного концепта, влияющую на объективность представленной

информации [Беляева; Выставку под патронажем...]. Подвергались критике невниманию авторов к историческому контексту, фактические ошибки, а также отсутствие ссылок на источники, в результате чего знания представлялись посетителям в уже «готовом» виде [Красильникова, Вальдман]. В активистской и научной среде принцип верифицируемости и принцип независимости науки определили значение выставки более, чем такие показатели, как количество посетителей, резонанс в прессе или ее предполагаемая дидактическая польза.

Становлению общих критериев оценивания препятствует различное в каждом дискурсе понимание цели и функции исторической памяти, а также нормативности практик исторической ответственности. Сама практика оценивания или контроля эффективности также имеет свое специфическое значение в зависимости от контекста — частной или институциональной памяти. Так, если в контексте частной памяти в практике оценивания нет необходимости, в институциональном контексте необходимость оценивания имплементации исторической памяти проистекает из необходимости контроля над средствами бюджета, выделяемыми на проработку прошлого и увековечивание памяти жертв, а также из контроля над выполнением обязательств политических акторов.

Институциональная составляющая становится все более значимой в социальной памяти, а значит, вместе с расширением институционального контекста растет необходимость в контроле эффективности мер, предпринимаемых в рамках исторической политики институтов памяти.

### Оценивание: история исследования

Оценивание все большее значение приобретает в таких сферах, как образование и здравоохранение, управление наукой и культурой. Контроль эффективности напрямую связан с процессами унификации и модуляризации [Stuckenschmidt, Parent, Spaccapietra; Saunders] в этих областях. В результате разделения комплексных феноменов и процессов на модули

возникают базовые единицы, которые представляется возможным измерить и оценить.

Начиная с 1960-х гг. появляются первые работы, посвященные исследованию качества [Marjanovic, Hanney, Wooding]. Многие ранние исследования, по оценке 1960-х и 1970-х гг., имеют две общие черты: основной интерес к сравнительному вкладу фундаментальных и прикладных исследований в инновации, а также методология, основанная на изучении конкретных случаев. В 1980-х гг. в социологии, антропологии, культурологии, управлении здравоохранением и образованием выходит значительное количество монографий и статей, посвященных практике оценивания<sup>1</sup>. Их основными темами являются влияние контроля эффективности на предмет оценки, поле, в котором производится оценивание, а также взаимодействие социальной и экономической составляющей в здравоохранении, образовании и культуре: влияние рыночных отношений на дискурс, который традиционно считался определяемым социальными взаимодействиями акторов.

Следующий вектор, который мы выделим в исследованиях оценивания, — изучение модификации или «перевода» комплексных феноменов в измеряемые категории<sup>2</sup>. Социолог Лидия Мария Уарт в своей работе «Пациенты, клиенты, заказчики?» [Ouart] иллюстрирует, как во все более институализированном поле ухода за пожилыми людьми забота не может более пониматься исключительно как проявление эмпатии, долга и помощи, а является также бюрократизированной практикой, распписанной по ролям и разложенной на модули, каждый из которых имеет свою рыночную цену. Такая модуляризация помогает пациентам, сотрудникам компаний, предоставляющих услуги ухода, а также страховым компаниям

<sup>1</sup> Об исследованиях качества в области образования см.: [Ling; Engeström, Sannino; Garaway]; об исследованиях в области здравоохранения: [Martin, Sturmberg; Gorli, Nicolini, Scaratti; Springett].

<sup>2</sup> Исследователи в рамках АСТ часто обращаются к переводу как аналитической модели, которая представляет возможным выявить, каким образом интересы, цели или желания акторов представлены, упрощены и преобразованы в производстве и мобилизации артефактов и знаний. В целом процесс перевода имеет тенденцию к объединению, объединению и упрощению структур. Процесс перевода превращает слабые, временные формы идентичности в прочные и кажущиеся необратимыми связи [Callon].

договариваться об оптимальном для всех заинтересованных сторон пакете услуг по уходу. При этом Уарт подчеркивает, что «изначальное» понимание заботы как эмпатии или социальных отношений правомерно в той же степени, что и интерпретация заботы как рыночных отношений.

В области исторической ответственности исследования оценивания были связаны прежде всего с попыткой понять, как качество памяти (формы, практики, нарративы) влияет на проработку травм [Bieniok, Reich, Hesse]. В исследованиях социальной памяти также присутствуют попытки выявить взаимосвязь экономического интереса акторов и конкретных мер по проработке трудного прошлого. Так, социолог Кристиан Харц указывает на обусловленность инициативы ФРГ по проработке национал-социализма, особенно выплат жертвам режима, желанием крупных корпораций обелить репутацию Германии с целью продвижения немецких товаров на мировой рынок. Харц проводит анализ эффективности мер имплементации исторической ответственности, при этом критерием оценки является улучшение международного имиджа Германии и увеличение продаж немецких товаров [Hartz].

В российском поле исторической памяти и ответственности основательных попыток теоретически и методологически осмыслить практику оценивания еще не предпринималось, однако, ввиду расширяющейся институализации социальной памяти, данная тема актуальна и нуждается в подробном исследовании.

### Модули исторической ответственности

В последующей части мы рассмотрим конкретные практики, которые определяют оценивание в поле исторической памяти и ответственности. Их анализ поможет нам понять, как функционирует практика оценивания.

**Моделирование.** Практика моделирования непосредственно связана с областью бюджета и финансов. В контексте составления отчета по гранту или освоению бюджетных средств, в котором контроль эффективности проделанной работы является обязательным требованием, оценивается не абстрактный

феномен исторической ответственности и памяти, а заранее определенные конкретные меры и действия. Другими словами, оценивается то, что было запланировано.

Моделирование исторической ответственности является результатом работы экспертов и итогом политических переговоров. Примером моделирования исторической ответственности служит комплекс мер по проработке наследия советской оккупационной зоны и ГДР, разработанного двумя парламентскими комиссиями в Германии, — «Проработка истории и последствий диктатуры СЕПГ в Германии» (1992–1994) и «Преодоление последствий диктатуры СЕПГ в процессе воссоединения Германии» (1995–1998). Заключение, сделанные первой и второй комиссиями, содержат предложения по мемориализации мест памяти и их финансированию. Иными словами, оформление немецкой исторической памяти о своем коммунистическом прошлом происходило от общей программы к конкретным мерам. Сперва был разработан общий концепт, затем были выработаны конкретные этапы реализации. При оценивании качества и эффективности мер по проработке коммунистического прошлого данные меры не могут быть рассмотрены вне контекста — рекомендаций парламентских комиссий по осмыслению диктатуры СЕПГ и противодействию ее последствиям.

**Сертификация.** Наряду с интерпретацией, то есть свободным и субъективным толкованием феноменов и данных, в практике оценивания присутствуют упорядочивание, классификация и сертификация: признание определенных феноменов, данных или практик соответствующими установленным стандартам. Данная практика подразумевает возникновение стандартов, признанных акторами, определяющими поле исторической ответственности. При этом то, что не будет «сертифицировано» как легитимная практика ответственности и памяти, будет классифицировано как «странное» и вытеснено на периферию дискурса.

Сертификация возникает в значительной степени под влиянием уже имеющегося опыта, национального или международного. Так, в немецком поле проработки прошлого принято говорить — как в позитивном, так и в негативном ключе — о «немецком метре»

[Henke], сопоставлении проработки опыта осмысления прошлого в других странах с немецким опытом. В результате сопоставления практик и форм памяти локальные практики и формы памяти могут признаваться соответствующими или не соответствующими определенным стандартам.

В локальном поле российской памяти исторически сложившиеся формы и практики памяти воспроизводятся в новых нарративах. Одним из укоренившихся стандартов является обращение к религиозным формам памяти и религиозной символике при создании мемориалов. Часто мемориалом жертв коммунистических репрессий является крест или часовня. И если в Москве около четверти всех мемориалов жертвам репрессий имеют религиозные черты, в Архангельской области таких мемориалов насчитывается около 75 % от общего числа<sup>3</sup>.

Следующим стандартом, определяющим российское поле памяти, является нарратив о подвиге и жертве во имя родины. Те формы памяти, которые вписываются в рамки этого нарратива, находят поддержку в структурах власти (как соответствующие стандартам). Примером тому служат реакция госчиновников и отзывы в государственных медиа на фильм «28 панфиловцев», посвященный героическому подвигу советских солдат при обороне Москвы. Министр культуры Владимир Мединский высоко оценил игровой фильм режиссеров Андрея Шальопы и Кима Дружинина, вышедший в 2016 г., обосновывая это тем, что повествование о панфиловцах лежит в дидактически правильном ключе: рассказ о подвиге солдат в Великой Отечественной войне способен вдохновить современников на подвиг [Мединский...].

Попытки исследователей или журналистов описать участие СССР во Второй мировой войне вне героического нарратива могут маркироваться как этически неверные и поддаваться осуждению, а также иметь юридические последствия. Примером тому

<sup>3</sup> Согласно базе данных Сахаровского центра. Возможно, минимальное соотношение религиозных мемориалов проистекает из осознанной конкуренции религиозной и светской памяти и памятных знаков, в то время как в Архангельской области обращение к религиозной символике не обязательно означает сакральный характер мемориала.

является получивший общественный резонанс опрос о необходимости обороны Ленинграда [«Дождь» оштрафовали...] или закон о публичном унижении чести и достоинства ветеранов в России [Путин подписал закон...].

**Фиксирование.** Фиксирование практик памяти в законодательных актах, так же как и отношений между акторами, составляет важную часть практики оценивания: оценивать можно только то, что на протяжении определенного периода времени остается неизменным, а правила являются общими для всех вовлеченных акторов. Фиксирование имеет важное значение для поля российской исторической ответственности и памяти: в законодательных актах декларируется историческая ответственность.

Так, хотя разработанная рабочей группой по исторической памяти Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ Концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий и была значительно урезана в процессе разработки, включенные в него пункты о необходимости учреждения мемориальных мест и надлежащем увековечивании памяти жертв стали, по словам сотрудников международного мемориала, тем базовым документом, на который они могли ссылаться в процессе переговоров с руководителями региональных администраций, а также тем документом, который легитимировал бы предлагаемые ими инициативы [Бутейко].

## Заключение и перспективы

Практика оценивания в значительной мере зависит от контекста, но также сам контекст меняется в процессе оценивания и полученных в результате оценивания знаний [Ivaldi, Scaratti, Nutti]. Райан и ДеСтефано считают совместное оценивание составной частью демократических процессов и видят значение практики оценивания в продвижении инклюзии и диалога [Ryan, DeStefano]. Действительно, совместное оценивание является пространством встречи разных акторов и дискурсов, своеобразным «третьим пространством». Общие для всех акторов в поле исторической памяти критерии эффективности способствуют прозрачности в распределении финансовых

средств и учреждении тендеров и тем самым позволяют актерам получить доступ к ресурсам и минимизировать конфликты в борьбе за них.

Верно и обратное: в силу нечетко сформулированных индикаторов эффективности, субъективного интерпретирования данных и в целом различия мировоззренческих позиций акторов оценивание обладает конфликтным потенциалом.

Минимизировать конфликты возможно, если критерии оценки функционируют как *границные объекты* [Star, Griesemer], то есть объекты, которые медируют между социальными группами и ценностями. Сьюзен Стар и Джеймс Грисемер описывают граничные объекты как пластичные, меняющие свое значение в разных социальных группах, способные приспособиться к нуждам и требованиям нескольких сторон, использующих их. В то же время граничные объекты могут сохранить свою целостность и свое значение в разных ситуациях и в понимании их различными актерами. Они обладают достаточно общей структурой, что позволяет им быть узнаваемыми различными актерами или стать единицей перевода. При этом структура граничных объектов усложняется в пользовании одной группой акторов в определенном контексте. В пользовании другой социальной группой индивидуальная структура граничных объектов будет отличной [Ibid.].

Стар и Грисемер подчеркивают значение граничных объектов: их создание является

ключом к развитию и поддержанию связности между пересекающимися социальными мирами [Star, Griesemer, 408]. Переноса концепцию граничных объектов на критерии контроля «качества» социальной памяти и исторической ответственности, мы представляем критерии оценки как связующие между разными дискурсами и практиками памяти. Для одних социальных групп они имели бы символическое значение и были бы более обобщенными, при этом другие социальные группы в критериях оценки видели тщательно проработанную логическую структуру, основанную на эмпирическом опыте.

В рамках данной статьи не представляется возможным ответить на вопрос, каким конкретно должно быть оценивание, что, кем и как должно оцениваться, какие именно критерии должны войти в систему оценки. Поиск подобных критериев должен основываться на практических процессах, заключениях экспертов и диалоге акторов. Однако в завершение данной статьи мы хотим подчеркнуть важность системы оценки, которая менее опирается на закрытые, стандартные категории, а больше исходит из практики, адаптируется под контекст и дифференцируется в зависимости от потребностей всех акторов. Такая система оценки могла бы функционировать в конфликтном поле памяти как граничный объект, а значит, медиировать между различными группами интересов.

#### Список источников

Беляева А. Просвещение или посвящение? И другие вопросы к проекту «Россия — моя история» // Город 812. 11.12.2017. URL: <https://gorod-812.ru/prosveshhenie-ili-prosvyashhenie-drugie-voprosyi-k-proektu-rossiya-moya-istoriya/> (дата обращения: 25.05.2021).

Бутейко Д. Полевой дневник. Посещение московского офиса «Мемориала» и беседа с сотрудниками в рамках конференции «Уроки 20 века: память о тоталитаризме в музеях, на памятных местах, в архивах и современных СМИ в России и Германии» (2015), организованной Фондом Фридриха Эберта. 05.09.2015.

Выставку под патронажем епископа Тихона предложили изучать школьникам и студентам. Историки называют ее «пропагандистской игрушкой» // Медуза. 11.12.2017. URL: <https://meduza.io/feature/2017/12/11/vystavku-pod-patronazhem-episkopa-tihona-predlozili-izuchat-shkolnikam-i-studentam-istoriki-nazyvayut-ee-propagandistskoy-igrushkoy> (дата обращения: 25.05.2021).

«Дождь» оштрафовали на 200 тыс. руб. за скандальный опрос о сдаче Ленинграда // TASS. 07.08.2014. URL: <https://tass.ru/obschestvo/1367019> (дата обращения: 25.05.2021).

Красильникова Е., Вальдман И. Практики политики памяти: парк-музей «Россия — моя история» в системе институциональных противоречий // Вестн. Том. гос. ун-та. 2019. № 444. С. 72–82. URL: <http://journals.tsu.ru/uploads/import/1860/files/444-072.pdf> (дата обращения: 25.05.2021).

Мединский: сомневающиеся в подвигах панфиловцев будут гореть в аду // BBC. 26.11.2016. URL: <https://www.bbc.com/russian/news-38117988> (дата обращения: 25.05.2021).

Путин подписал закон об ответственности «за унижение чести ветерана» // DW. 5.04.2021. URL: <https://www.dw.com/ru/zakon-ob-otvetstvennosti-za-unizhenie-chesti-veterana/a-57103545> (дата обращения: 25.05.2021).

Раскина Я. Романовы: Взгляд сквозь века // Русский дом. 2014. № 1. URL: [www.russdom.ru/node/7406](http://www.russdom.ru/node/7406) (дата обращения: 25.05.2021).

Объективный взгляд на период правления династии Романовых на выставке в столице // Телеканал Культура. 06.11.2013. URL: [http://tvkultura.ru/article/show/article\\_id/102688/](http://tvkultura.ru/article/show/article_id/102688/) (дата обращения: 25.05.2021).

Bieniok M., Reich A., Hesse P. U. Kann die Blickrichtung die emotionale Qualität der Erinnerung von belastenden oder traumatischen Ereignissen verändern? // *Empirische Evaluationsmethoden*. B. 23. Workshop 2018. Berlin : Zentrum für empirische Evaluationsmethoden e. V., 2019. P. 57–79.

Callon M. Some elements of a sociology of translation: Domestication of the Scallops and the fishermen of St. Brieuc Bay // *Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge?* / J. Law (ed.). London : Routledge and Kegan Paul, 1986. P. 196–229.

Engeström Y., Sannino A. Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges // *Educational Research Review*. 2010. № 5(1). P. 1–24.

Foucault M. *Les Mots Et Les Choses: Une Archéologie Des Sciences Humaines*. Paris: Gallimard, 1966, here 1990.

Garaway G. B. Participatory evaluation // *Studies in Educational Evaluation*. 1995. № 21(1). P. 85–102.

Gorli M., Nicolini D., Scaratti G. Reflexivity in practice: Tools and conditions for developing organizational authorship // *Human Relations*. 2015. № 68(8). P. 1347–1375.

Hartz Ch. Dimensionen der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus (неопубликованная диссертация).

Henke K. Bitte kein deutsches Urmeter. Herausforderungen im Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in Ostmitteleuropa // *Der Kommunismus im Museum: Formen der Auseinandersetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa* / V. Knigge et al. Köln : Böhlau, 2005. P. 101–105.

Ivaldi S., Scaratti G., Nutti G. The Practice of Evaluation as an evaluation of practices // *Evaluation*. 2015. № 21(4). P. 479–512.

Ling T. Evaluating complex and unfolding interventions in real time // *Ibid*. 2012. № 18(1). P. 79–91.

Marjanovic S., Hanney S., Wooding S. A historical reflection on research evaluation studies, their recurrent themes and challenges. Santa Monica, Calif. : RAND Corporation, 2009.

Martin C., Sturmberg J. (2009). Perturbing ongoing conversations about systems and complexity in health services and systems // *Journal of Evaluation in Clinical Practice*. 2009. № 15(3). P. 549–552.

Uart L. M. Patienten, Kunden, Auftraggeber? Die Rolle älterer Menschen mit Pflegebedürftigkeit gegenüber ambulanten Pflegediensten // Harm-Peer Zimmermann, Andreas Kruse, Thomas Rentsch (ed.). *Kulturen des Alterns, Plädoyer für ein gutes Leben bis ins hohe Alter*. Frankfurt ; New York : Campus, 2016. P. 159–170.

Ryan K. E., DeStefano L. (ed.) *Evaluation as a Democratic Process: Promoting Inclusion, Dialogue and Deliberation*. New Directions for Evaluation. San Francisco, CA, Jossey-Bass, 2000.

Saunders T. The use and usability of evaluation outputs: A social practice approach // *Evaluation*. 2012. № 18(4). P. 421–436.

Springett J. Participatory approaches to evaluation in health promotion // Rootman M., Goodstadt B., Hyndman et al. (ed.). *Evaluation in Health Promotion Principles and Perspectives*. Copenhagen, World Health Organization, 2001. P. 83–105.

Star S., Griesemer J. Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39 // *Social Studies of Science*. 1989. № 19(3). P. 387–420.

Stuckenschmidt H., Parent C., Spaccapietra S. *Modular Ontologies: Concepts, Theories and Techniques for Knowledge Modularization*. Modular Ontologies. Berlin : Heidelberg, Springer, 2009.

## References

Belyayeva, A. (2017). *Prosveshcheniye ili prosvyashcheniye? I drugiye voprosy k proyektu «Rossiya — moy istoriya» [Enlightenment or enlightenment? And other questions for the “Russia — My History” project]. Gorod 812*. 11.12.2017. URL: <https://gorod-812.ru/prosveshcheniye-ili-prosvyashcheniye-drugie-voprosyi-k-proyektu-rossiya-moya-istoriya/> (mode of access: 25.05.2021).

Bieniok, M., Reich, A., Hesse, P. U. (2019). Kann die Blickrichtung die emotionale Qualität der Erinnerung von belastenden oder traumatischen Ereignissen verändern? *Empirische Evaluationsmethoden*. B. 23. Workshop 2018. Berlin: Zentrum für empirische Evaluationsmethoden e. V., 57–79.

Buteiko, D. (2015). Polevoi dnevnik. Poseshenie moskovskogo ofisa «Memoriala» i beseda s sitrudnikasmi v ramkakh konferentsii «Uroki 20 veka: pamyat’ o totalitarizme v muzeyakh, na pamyatnykh, v arkhivakh i sovremennykh SMI v Rossii i Germanii», organizovannoi Fondom Fridrikha Eberta [Field diary. Visit to the Moscow office of Memorial and conversation with the staff as part of the conference “Lessons of the 20th century: Remembering totalitarianism in museums, memorial sites, archives and contemporary media in Russia and Germany”, organised by the Friedrich Ebert Foundation]. 05.09.2015.

“Dozhd” oshtrafovali na 200 tys. rub. za skandal’nyy opros o sdache Leningrada [“Dozhd” fined 200,000 rubles for scandalous survey on Leningrad surrender]. TASS. 07.08.2014. URL: <https://tass.ru/obschestvo/1367019> (mode of access: 25.05.2021).

Callon, M. (1986). Some elements of a sociology of translation: Domestication of the Scallops and the fishermen of St. Brieuc Bay. *Power, Action and Belief. A New Sociology of Knowledge?* / J. Law (ed.). London: Routledge and Kegan Paul, 196–229.

Engeström, Y., Sannino, A. (2010). Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges. *Educational Research Review*, 5(1), 1–24.

Foucault, M. (1966, here 1990). *Les Mots Et Les Choses: Une Archéologie Des Sciences Humaines*. Paris: Gallimard.

- Garaway, G. B. (1995). Participatory evaluation. *Studies in Educational Evaluation*, 21(1), 85–102.
- Gorli, M., Nicolini, D., Scaratti, G. (2015). Reflexivity in practice: Tools and conditions for developing organizational authorship. *Human Relations*, 68(8), 1347–1375.
- Hartz, Ch. *Dimensionen der Zwangsarbeit im Nationalsozialismus*. Unpublished dissertation.
- Henke, K. (2005). Bitte kein deutsches Urmeter. Herausforderungen im Umgang mit der kommunistischen Vergangenheit in Ostmitteleuropa. *Der Kommunismus im Museum: Formen der Auseinandersetzung in Deutschland und Ostmitteleuropa* / ed. V. Knigge et al. Köln: Böhlau, 101–105.
- Ivaldi, S., Scaratti, G., Nutti G. (2015). The Practice of Evaluation as an evaluation of practices. *Evaluation*, 21(4), 479–512.
- Krasil'nikova, Ye., Val'dman, I. (2019) Praktiki politiki pamyati: park-muzej «Rossiya — moya istoriya» v sisteme institucional'nykh protivorechij [Practising the politics of remembrance: The “Russia — My History” park-museum in a system of institutional contradictions]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 444, 72–82. URL: <http://journals.tsu.ru/uploads/import/1860/files/444-072.pdf> (mode of access: 25.05.2021).
- Ling, T. (2012). Evaluating complex and unfolding interventions in real time. *Evaluation*, 18(1), 79–91.
- Marjanovic, S., Hanney, S., Wooding, S. (2009). *A historical reflection on research evaluation studies, their recurrent themes and challenges*. Santa Monica, Calif: RAND Corporation.
- Martin, C., Sturmberg, J. (2009). Perturbing ongoing conversations about systems and complexity in health services and systems. *Journal of Evaluation in Clinical Practice*, 15(3), 549–552.
- Medinskiy: somnevayushchiyesya v podvigakh panfilovtsev budut goret' v adu [Medinsky: Those who doubt the exploits of the Panfilov heroes will burn in hell]. *BBC*. 26.11.2016. URL: <https://www.bbc.com/russian/news-38117988> (mode of access: 25.05.2021).
- Ouart, L. M. (2016). Patienten, Kunden, Auftraggeber? Die Rolle älterer Menschen mit Pflegebedürftigkeit gegenüber ambulanten Pflegediensten. *Kulturen des Alterns, Plädoyer für ein gutes Leben bis ins hohe Alter* / H.-P. Zimmermann, A. Kruse, Th. Rentsch (ed.). Frankfurt; New York: Campus, 159–170.
- Putin podpisal zakon ob otvetstvennosti “za unizheniye chesti veterana” [Putin signs law on accountability “for degrading a veteran’s honour”]. *DW*. 05.04.2021. URL: <https://www.dw.com/ru/zakon-ob-otvetstvennosti-za-unizhenie-chesti-veterana/a-57103545> (mode of access: 25.05.2021).
- Raskina, Y. A. (2014). Romanovy. Vzglyad skvoz' veka [The Romanovs. A glimpse through the ages]. *Russkiy dom*. URL: [www.russdom.ru/node/7406](http://www.russdom.ru/node/7406) (mode of access: 25.05.2021).
- Ryan, K. E., DeStefano, L. (ed.) (2000). *Evaluation as a Democratic Process: Promoting Inclusion, Dialogue and Deliberation. New Directions for Evaluation*. San Francisco, CA, Jossey-Bass.
- Saunders, T. (2012). The use and usability of evaluation outputs: A social practice approach. *Evaluation*, 18(4), 421–436.
- Springett, J. (2001). Participatory approaches to evaluation in health promotion. In Rootman M., Goodstadt B., Hyndman et al. (ed.). *Evaluation in Health Promotion Principles and Perspectives*. Copenhagen, World Health Organization, 83–105.
- Star, S., Griesemer, J. (1989). Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907–1939. *Social Studies of Science*, 19 (3), 387–420.
- Stuckenschmidt, H., Parent, C., Spaccapietra, S. (2009). *Modular Ontologies: Concepts, Theories and Techniques for Knowledge Modularization. Modular Ontologies*. Berlin Heidelberg, Springer.
- Telekanal Kul'tura. Ob'ektivnyj vzgljad na period pravlenija dinasti Romanovykh na vystavke v stolice [An objective look at the Romanov dynasty at an exhibition in the capital]. *Telekanal Kultura*. URL: [http://tvkultura.ru/article/show/article\\_id/102688/](http://tvkultura.ru/article/show/article_id/102688/) (mode of access: 25.05.2021).
- Vystavku pod patronazhem yepiskopa Tikhona predlozhili izuchat' shkol'nikam i studentam. Istoriki nazyvayut yeye “propagandistskoy igrushkoy” [The exhibition, under the patronage of Bishop Tikhon, was proposed to be studied by schoolchildren and students. Historians call it a “propaganda toy”]. *Meduza*. 11.12.2017. URL: <https://meduza.io/feature/2017/12/11/vystavku-pod-patronazhem-episkopa-tikhona-predlozhili-izuchat-shkolnikam-i-studentam-istoriki-nazyvayut-ee-propagandistskoy-igrushkoy> (mode of access: 25.05.2021).

### Сведения об авторе

**Бутейко Дарья Анатольевна** — научный сотрудник Томского государственного университета, г. Томск, Российская Федерация; научный сотрудник Берлинского университета им. Гумбольдта, г. Берлин, Германия

### Information about the author

**Daria A. Buteiko** — Doct. Sci. (Philosophy), Research Associate Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation; Research Associate Humboldt University of Berlin, Berlin, Germany

Статья поступила в редакцию 15.07.2021;  
одобрена после рецензирования 31.08.2021;  
принята к публикации 15.09.2021

The article was submitted 15.07.2021;  
approved after reviewing 31.08.2021;  
accepted for publication 15.09.2021

Научная статья

УДК 1(091) + 141.7 + 32.019.51 + 316.334.3

doi 10.15826/tetm.2021.2.015

## «Метаистория» Х. Уайта и социальные условия исторической ответственности

Оксана Владимировна Головашина<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup>Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия

<sup>2</sup>Томский государственный университет, Томск, Россия

ovgolovashina@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9911-175X>

**Аннотация.** В статье рассматриваются возможности применения модели «Метаистории» Х. Уайта для анализа социальных условий исторической ответственности. Автор кратко представляет свою интерпретацию исторической ответственности, затем, с опорой на идеи П. Бурдьё и М. Фуко, обосновывает способность нарратива определять социальные практики. Демонстрируя риторические приемы, используемые акторами политики памяти и общественными активистами, автор показывает, что взгляды Уайта можно применить для анализа не только исторических текстов, но и исторической памяти, исторической ответственности.

**Ключевые слова:** историческая ответственность, политика памяти, Уайт, метаистория, дискурс

**Для цитирования:** Головашина О. В. «Метаистория» Х. Уайта и социальные условия исторической ответственности // *Tempus et Memoria*. 2021. Т. 2, № 2. С. 73–79. <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.015>.

**Благодарности:** статья написана по результатам работ, поддержанных грантом Российского научного фонда № 19-18-00421.

Original article

## H. White's "Metahistory" and the Social Conditions of Historical Responsibility

Oksana V. Golovashina<sup>1, 2</sup>

<sup>1</sup>Ural Federal University, Ekaterinburg, Russia

<sup>2</sup>Tomsk State University, Tomsk, Russia

ovgolovashina@mail.ru

**Abstract.** The article analyzes the possibilities of applying the model of "Metahistory" by H. White to analyze the social conditions of historical responsibility. The author briefly presents his interpretation of historical responsibility, then, based on the ideas of P. Bourdieu and M. Foucault, substantiates the ability of the narrative to determine social practices. Showing the rhetorical techniques used by actors of memory politics and public activists, the author shows that White's views can be applied not only to the analysis of historical texts, but also to the historical memory of historical responsibility.

**Keywords:** historical responsibility, politics of memory, White, metahistory, discourse

© Головашина О. В., 2021

**For citation:** Golovashina, O. V. (2021). «Metaistoriya» Kh. Uaita i sotsial'nye usloviya istoricheskoi otvetstvennosti [H. White's "Metahistory" and the social conditions of historical responsibility]. *Tempus et Memoria*, 2, 2, 73–79. (In Russ.). <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.015>

**Acknowledgments:** The article was written based on the results of the work supported by the grant of the Russian Science Foundation № 19-18-00421.

Трансформация исторического сознания, инверсия времени, рост внимания к использованию прошлого в политических целях диктуют необходимость научного исследования исторической ответственности.

Под исторической ответственностью в предлагаемой работе понимается вид политической ответственности (по Х. Арндт), которая заключается в присвоении личностью коллективной ответственности по отношению к действиям и событиям, связанными с деятельностью сообщества. Существенными чертами исторической ответственности в нашей трактовке являются следующие: 1) она распространяется только на структуры, выбор которых является сознательным: человек осуществляет выбор какого-либо сообщества и, оказываясь его частью, в дальнейшем отвечает за действия этого сообщества; 2) ответственность касается всех людей, связанных со структурой, однако степень этой ответственности коррелирует со степенью вовлеченности того или иного человека в сообщество и с его ролью в нем. Наша трактовка исторической ответственности, сохраняя интуицию свободного выбора, характерного для интерпретации личной ответственности И. Кантом, опирается на идеи структурной ответственности А. Янг, которую она разработала, используя идеи О. О'Нил и Р. Гудина [Young 2003; Young 2004; Young 2005].

Данная модель исторической ответственности позволяет нам трактовать историческую ответственность не как абстрактную этическую категорию, а в качестве отношений между субъектом и объектом ответственности, определяющее влияние на которые оказывают социальные практики. Однако эта модель требует дальнейших уточнений. В частности, проблему мы видим в том, каким образом социальные структуры создают субъект, который обладает всей степенью ответственности. Ключевым для разрешения этой проблемы оказывается вопрос

возможности социальных практик, конструирующих как субъекта ответственности, так и историческую ответственность как отношение. Практики предшествуют формированию субъекта, однако сама постановка вопроса о возможности практик предполагает, что этот вопрос уже должен кто-то задавать. Этот «кто-то» еще не является субъектом, но должна существовать определенная контингентность, в которой задается данный вопрос.

Понимая сложность поставленной проблемы, в этой статье мы предлагаем рассмотреть возможности нарратива определять различные виды социальных практик. Подобная постановка вопроса возможна с опорой на идеи М. Фуко и П. Бурдьё.

М. Фуко подчеркивает, что дискурс не только непосредственно связан с употребляемыми словами, но и презентует определенные культурные смыслы, которые влияют на конструирование социальной реальности [Фуко]; речь выступает инструментом освоения окружающей действительности, а сама деятельность человека может быть, с определенными допущениями, сведена к дискурсивным (речевым) практикам. Дискурс, по Фуко, порождается социальными порядками, но может им противостоять, то есть влиять на формирование и проявление различных аспектов социального порядка. Однако если Фуко подчеркивает конкретно-историческое состояние дискурсивной среды [Там же, 47–96], то в нашей работе акцент будет сделан на том, как определенные виды дискурса влияют на эту среду и соответствующие социальные практики. Это не противоречит идеям французского философа, обращающего внимание на дискурс власти и способы управления дискурсом и через дискурс. Управление дискурсом делает человека объектом манипуляций, которые сам он не осознает, так как привычная дискурсивная среда воспринимается как естественная.

П. Бурдьё исходит из того, что язык представляет собой социальный конструкт,

возникает и развивается как социальный феномен. Любое высказывание индивида определяется социальным контекстом и социальными структурами, к которым конкретный индивид принадлежит. У Бурдьё этот тезис носит прежде всего эпистемологический характер, позволяя по высказываниям субъекта анализировать различные аспекты функционирования социальных структур, однако если мы подчеркиваем тезис о том, что социальные практики могут быть обусловлены языковыми конструкциями, то можем сделать вывод, что не только язык представляет собой продукт социального взаимодействия индивидов [Bourdieu, 135], но и это взаимодействие определяется языком.

То есть языковые, в том числе нарративные, практики осуществляются в определенном языковом поле и детерминированы этим полем. С опорой на М. Фуко и П. Бурдьё мы подчеркиваем, с одной стороны, историческую и социальную обусловленность дискурса, с другой, что особо ценно для наших дальнейших выводов, способность дискурса детерминировать социальные практики и действия индивидов и сообществ.

Этот промежуточный вывод позволяет нам сделать следующий шаг. Так как мы исходим из того, что субъекта исторической ответственности формируют социальные условия, наши дальнейшие рассуждения будут связаны с этим полем. Представления о прошлом, определяющие образы исторической ответственности, зависят от двух основных направлений — исторической политики и гражданской активности индивидов. Оставив за скобками различные факторы, влияющие на эти выделенные нами направления, мы в предлагаемой работе сконцентрируем внимание на том, что социальная активность (государства или граждан, в данный момент неважно) по отношению к прошлому подчиняется основным закономерностям, по которым это прошлое воспринимается нашим сознанием. Действия активиста, выступающего за сохранение дома, относящегося к объектам культурного наследия муниципального уровня, или депутата, который вносит в Думу очередной мемориальный закон, или выпускницы истфака, которая копается в архивах для воссоздания прошлого своей семьи, или президента, преклонившего колена у монумента жертвам, подчиняются

некоторым одинаковым правилам. Эти правила, на наш взгляд, позволяют прояснить некоторые соображения, высказанные Х. Уайтом в его работе «Метаистория. Историческое воображение в Европе XIX века». Несмотря на серьезную критику и дискуссию вокруг этой книги [Доманска; Кукарцева; Hunter 2006; Hunter 2014], мы считаем ряд положений этой работы актуальными и вполне применимыми для анализа современной ситуации.

В своей работе Х. Уайт доказывает, что историческое повествование строится по законам художественного текста, а известный набор сюжетов определяет направление исторического нарратива. Следствием этого выбора оказываются способ аргументации и идеологическое настроение повествования. Как и другие представители нарративного поворота, Уайт настаивает на сконструированности исторического факта, то есть важным, с его точки зрения, оказывается не то, что было, а каким образом то, что было, встраивается в существующий нарратив, который, в свою очередь, начинает определять восприятие событий и их трактовок. Интерпретация оказывается доминирующей над репрезентацией, идеологическая позиция автора выступает функцией от подтекста в структуре нарратива. Определяющим для восприятия исторических событий оказывается язык, который предлагает готовые риторические фигуры и объяснительные модели, а история, таким образом, может трактоваться как «лингвистическое образование».

Для решения задач, поставленных в данной статье, нас интересует предлагаемая Уайтом трактовка возможности доступа к прошлому только через культурно обусловленный рассказ об этом прошлом. События не существуют сами по себе, а встроены в определенный нарратив, содержание которого зависит не столько от «реально» произошедшего, сколько от повествовательной оптики, определяющей рассказ, а следовательно, от восприятия этого произошедшего. Эти идеи характерны и для других представителей нарративного поворота. Оригинальность Уайта в том, что он не просто показал обусловленность исторических фактов языком, а обосновал, чем конкретно определяется эта интерпретация. Однако, несмотря на то что содержание работы находилось в русле лингвистического поворота, Уайт подчеркивает

необходимость ответственности историка перед будущим и важность исторического сознания для конструирования этого будущего. Постмодернистский релятивизм Уайта не противоречит важности морального измерения истории: «На каких других основаниях может быть заключено повествование о реальных событиях?.. В чем еще может состоять завершение повествования, как не в переходе от одного морального порядка к другому?» [White, 25].

Таким образом, если мы вспомним высказанные выше суждения о детерминированности социальных практик и социального контекста нарративом и дискурсом, история оказывается не только определенным видом повествования, но и сценарием для действующих актеров (актеров). Метафора, метонимия, синекдоха, ирония существуют не только в литературных (и исторических, как показал Уайт) текстах, но и в буклетах туристических агентств, обещающих погружение в прошлое, в высказываниях политиков, дискуссиях на тематических форумах. Их употребление не выходит за рамки риторических фигур, а выступает как определенная модель действий для участников, читателей, свидетелей. Не только в научных работах, «когда преобладает одно конкретное повествование, грязную работу неизменно выполняет “риторика”, а не доказательства и логика, которые в любом случае являются просто ловкими языковыми обозначениями для одного вида риторической стратегии» [Levitt, 267]; подобное можно встретить в публичных выступлениях политических, общественных лидеров, активистов и интересующихся собственной генеалогией. Таким образом, применительно к исторической политике, как и к историческим текстам, риторика зачастую занимает роль теории. В процессе реализации различных меморативных мероприятий, акций участников (как историки — своих читателей) убеждают, какое именно восприятие тех или иных событий правильное и объективное.

Уайт не претендует на то, чтобы рассказать, что такое язык, но пишет, как он работает. Если рассматривать через оптику, предлагаемую Уайтом, историческую политику, то мы можем трактовать ее как своеобразный рассказ об истории, определяющий необходимое актерам конструирование и, следовательно,

восприятие тех или иных исторических фактов. «Доминантный троп, в котором этот конституирующий акт доводится до конца, будет определять и виды объектов, которым позволено появляться в этом поле в качестве данных, и возможные отношения, которые, как предполагается, существуют между ними» [Уайт, 495–496]. Весь нарратив российской истории можно охарактеризовать как героический роман; отражение подобной поэтики мы находим в речах политиков, во время государственных праздников, торжественных меморативных мероприятий. Именно оптика романа как специфического типа повествования, определяет возможность нарратива влиять на социальные условия, обеспечивающие формирование субъекта исторической ответственности.

Идеи Уайта вызвали обвинение его в «безграничном релятивизме» [Colob, 65], так как за стратегиями интерпретации и используемыми историками в процессе конструирования риторическими ходами теряется прошлое само по себе. Политика памяти также предполагает определенное конструирование, а «самыми типичными стратегиями конструирования являются те, которые нацелены на ретроспективную реконструкцию прошлого, применяясь к потребностям настоящего, или на конструирование будущего через творческое предвидение, предназначенное ограничить всегда открытый смысл настоящего» [Бурдье, 79]. Не важно событие само по себе, важно, какой нарратив диктует интерпретацию этого события. Историческая политика предлагает готовые дискурсивные практики для восприятия и интерпретации тех или иных событий, однако эти практики также ограничены. Актеры политики памяти выбирают не любую интерпретацию, так как сами также находятся в поле существующих сюжетов. Поэтому мы имеем дело с трактовкой Великой Отечественной войны как трагедии, героическим романом об успехах советской индустриализации, сатирическими трактовками 1990-х. Вряд ли кто-то из публичных политиков или общественных деятелей, выступающих на исторические темы, читал Уайта, но относятся к историческим фактам зачастую как к «событиям в процессе описания», то есть их содержание определяется контекстом. Предлагаемые художественные

выразительные техники не обязательно ведут за собой искажение фактов, но выстраиваемый нарратив предопределяет их восприятие.

Однако сама историческая политика, в свою очередь, также определяется сложившимися риторическими фигурами и объяснительными моделями. Например, современные войны памяти, на которые оказали влияние масштабное празднование Россией 60-летнего юбилея Победы, развитие национального самосознания в молодых республиках и популяризация нарратива о двух тоталитаризмах, ведутся с использованием военных метафор; дальнейшее развитие институционального аспекта мемориальных войн может свидетельствовать о том, что они перестают быть просто метафорой, а оказываются действующим объектом современного пространства работы с прошлым. Речь идет уже не об исторических фактах, а об их зачастую моральных оценках, историческая достоверность оказывается заменена рассуждениями о «правде» и «справедливости» [Бордюгов; Герасимчик; Колодий; Можно ли остановить...]. Эта ситуация оказывается вполне созвучной той, которую описывал Уайт: «Если же возникает вопрос о выборе между этими альтернативными воззрениями на историю, единственными основаниями для предпочтения одного другому являются моральные или эстетические основания» [Фуко, 499].

Риторика и поэтика истории проявляются, на наш взгляд, не только в научных текстах, но и в действиях гражданских активистов. Однако ситуация осложняется тем, что гражданские активисты, отстаивающие необходимость сохранения объектов культурного наследия или открывающие частный музей тех же 90-х (трагуемых уже в качестве, например, трагедии, а не сатиры), оказываются под воздействием не только сложившихся художественных сюжетов, но и интерпретаций, предлагаемых акторами исторической политики. Например, граждане протестуют против изображения Скорбящей матери в г. Рассказово Тамбовской области, образ которой не согласуется со сложившимися у них представлениями [Жителей Рассказово...; На Тамбовщине...]. Добиваясь демонтажа стелы, граждане показывают свою независимость и активность, однако дискурс их выступлений («безумное надругательство и над Победой, и над материнством,

и над светлой памятью», «памятники такого рода должны быть величественными и фундаментальными, чтобы, глядя на памятник, чувствовалась вся мощь великой страны, победившей фашизм», «авангардизм в таком деле неуместен») определен содержанием учебников истории и советских героических фильмов, а сами действия можно объяснить несоответствием трагического образа Скорбящей матери советского героическому нарративу о Великой Отечественной войне.

В соответствии с идеями Уайта объективному историческому процессу противостоят различные «истории». И если Уайт предлагал свою модель для понимания так называемой «метаистории», то мы предлагаем расширить возможности применения его модели, так как локальные интерпретации, на наш взгляд, подчиняются тем же законам, что и описания событий историками. Дело не только в том, что локальные активисты, отстаивающие свою версию «исторической правды», как это было со стелой Скорбящей матери и регулярно происходит с другими местами памяти, выступают как носители федерального исторического нарратива, но и в том, что в каком-либо городе, деревне, регионе может осуществляться та же трагедия или ирония истории. Активисты оказываются связанными теми же дискурсивными стратегиями и риторическими фигурами, что и политические и общественные деятели или историки.

Риторика и поэтика исторического повествования таким образом оказывается перформативной. Она детерминирует действия тех, кто, как он (они) думает, использует ее в своих целях.

Таким образом, социальные условия, определяющие практики исторической ответственности, определяются сложившимися риторическими фигурами. Обращение к исторической ответственности, как правило, связано с риторикой романа и соответственно использованием метафоры в историческом повествовании. Это доказывает обращение к метафорам и соответствующим риторическим фигурам акторов политической ответственности и гражданских активистов. Востребованным является анализ конкретных практик и выделение моделей этого обращения с опорой на предлагаемую Х. Уайтом исследовательскую оптику.

Список источников

- Бордюгов Г. А. «Войны памяти» на постсоветском пространстве. М. : АИРО-XXI, 2011.
- Бурдые П. Социология социального пространства. М. : Ин-т эксперимент. социологии ; СПб. : Алетейя, 2007.
- Герасимчик В. «Война памяти»: Как изменилось восприятие общей истории гражданами постсоветских стран // Евразия-эксперт. 2018. URL: <https://eurasia.expert/voyna-pamyati-kak-izmenilos-vozpriyatie-obshchey-istorii-grazhdanami-postsovetskikh-stran/> (дата обращения: 19.10.2020).
- Доманска Э. Философия истории после постмодернизма. М. : «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2010. С. 198–235.
- Жителей Рассказово пугает стела «Скорбящая мать» // Информационное агентство «Онлайн Тамбов.ру» : [сайт]. 08.08.2015. URL: <https://goo.gl/N6LNgj> (дата обращения: 11.03.2021).
- Колодий Н. А. Лабиринт памяти — места памяти — война памяти: опыт истолкования // Вестн. наук Сибири. 2013. № 1 (7). С. 240–245.
- Кукарцева М. А. Хейден Уайт и практика исторических исследований XX века // Диалог со временем. 2008. М., 2008. С. 8–34.
- Можно ли остановить «войну памятников» в Европе // РИА Новости. URL: <http://pda.rian.ru/analytics/20071102/86273530.html> (дата обращения: 19.10.2020).
- На Тамбовщине вместо «скорбящей матери» скульптур изобразил привидение // Конт : [сайт]. 09.11.2015. URL: <https://goo.gl/hPb54q> (дата обращения: 11.03.2021).
- Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2000.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. Работы разных лет. М. : Касталь, 1996.
- Bourdieu P. In Other Words: Essays Towards Reflexive Sociology. Stanford : Stanford University Press, 1990.
- Colob E. The Irony of Nihilism // History and Theory. 1980. Vol. 19 (4). P. 55–65.
- Hunter I. Hayden White's Philosophical History // New Literary History. 2014. Vol. 45, № 3. P. 331–358.
- Hunter I. The History of Theory // Critical Inquiry. 2006. Vol. 33, № 1. P. 78–112.
- Levitt N. The Colonization of the Past and the Archeology of the Future // Fagan G. Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past. London ; New York : Routledge, 2006. P. 259–286.
- White H. The Value of Narrativity in the Representation of Reality // Critical Inquiry. 1980. Vol. 7, № 1. P. 5–27.
- Young I. M. Political Responsibility and Structural Justice // The Lindley Lecture. 2003. Vol. 41. URL: <https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/12416/Political%20Responsibility%20and%20Structural%20Injustice-2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (mode of access: 04.09.2020).
- Young I. M. Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model // Anales de la Cátedra Francisco Suárez. 2005. № 39. P. 709–726.
- Young I. M. Responsibility and Global Labor Justice // The Journal of Political Philosophy. 2004. Vol. 12, № 4. P. 365–388.

References

- Bordjugov, G. A. (2011). «*Vojny pamjati*» na postsovetskom prostranstve [“Memory wars” in the Post-Soviet Space]. Moskva: AIRO-HHI.
- Bourdieu, P. (1990). *In Other Words: Essays Towards Reflexive Sociology*. Stanford: Stanford University Press.
- Burd'e, P. (2007). *Sociologija social'nogo prostranstva* [Sociology of social space]. Moskva: Institut jeksperimental'noj sociologii; Sankt-Peterburg: Aletejjja.
- Colob, E. (1980). The Irony of Nihilism. *History and Theory*. 19 (4), 55–65.
- Domanska, Je. (2010). *Filosofija istorii posle postmodernizma* [Philosophy of History after Postmodernism]. Moskva: «Kanon+» ROOI «Reabilitacija», 198–235.
- Fuko, M. (1996). *Volja k istine: po tu storonu znaniya, vlasti i seksual'nosti. Raboty raznyh let* [The Will to Truth: Beyond Knowledge]. Moskva: Kastal'.
- Gerashimchik, V. (2018). «*Vojna pamjati*». Kak izmenilos' vozpriyatie obshhej istorii grazhdanami postsovetskikh stran [“War of Memory”. How Has the Perception of Shared History Changed Among Citizens of Post-Soviet Countries]. *Evracija-jekspert*. URL: <https://eurasia.expert/voyna-pamyati-kak-izmenilos-vozpriyatie-obshchey-istorii-grazhdanami-postsovetskikh-stran/> (mode of access: 19.10.2020).
- Hunter, I. (2006). The History of Theory. *Critical Inquiry*. 33 (1), 78–112.
- Hunter, I. (2014). Hayden White's Philosophical History. *New Literary History*. 45 (3), 331–358.
- Kolodii, N. A. (2013). Labirint pamyati — mesta pamyati — voina pamyati: opyt istolkovaniya [Labyrinth of Memory — Places of Memory — War of Memory: Experience of Interpretation]. *Vestnik nauk Sibiri*, 1 (7), 240–245.
- Kukarceva, M. A. (2008). Hejden Uajt i praktika istoricheskikh issledovanij XX veka [Hayden White and the Practice of Twentieth-century Historical Research]. *Dialog so vremenem*. Moskva, 8–34.
- Levitt, N. (2006). The Colonization of the Past and the Archeology of the Future. In Fagan G. (ed). *Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past*. London; New York: Routledge, 259–286.
- Mozhno li ostanovit' “voynu pamyatnikov” v Evrope [Can the “War of Monuments” in Europe be Stopped]. *RIA Novosti*. URL: <http://pda.rian.ru/analytics/20071102/86273530.html> (mode of access: 19.10.2020).
- Na Tambovshhine vmesto «skorbjashhej materi» skul'ptur izobrazil privedenie [In the Tambov Region, instead of the “Grieving Mother” Sculptures Depicted a Ghost]. *Kont*. 09.11.2015. URL: <https://goo.gl/hPb54q> (mode of access: 11.03.2021).
- Uajt, X. (2000). *Metaistorija: Istoricheskoe voobrazhenie v Evrope XIX veka* [Metahistory: Historical Imagination in Nineteenth-century Europe]. Ekaterinburg: Izdatel'stvo Ural'skogo universiteta.

White, H. (1980). The Value of Narrativity in the Representation of Reality. *Critical Inquiry*, 7 (1), 5–27.

Young, I. M. (2003). Political Responsibility and Structural Justice. *The Lindley Lecture*, 41. URL: <https://kuscholarworks.ku.edu/bitstream/handle/1808/12416/Political%20Responsibility%20and%20Structural%20Injustice-2003.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (mode of access: 04.09.2020).

Young, I. M. (2004). Responsibility and Global Labor Justice. *The Journal of Political Philosophy*, 12 (4), 365–388.

Young, I. M. (2005). Responsibility and Global Justice: A Social Connection Model. *Anales de la Cátedra Francisco Suárez*, 39, 709–726.

Zhitelej Rasskazovo pugaet stela «Skorbjashhaja mat'» [Residents of Rasskazovo are Frightened by the “Grieving Mother” Stele]. *Informacionnoe agentstvo “Onlajn Tambov.ru”*. 08.08.2015. URL: <https://goo.gl/N6LNjg> (mode of access: 11.03.2021).

#### Сведения об авторе

**Головашина Оксана Владимировна**, доктор философских наук, доцент, ведущий научный сотрудник Лаборатории сравнительных исследований толерантности и признания Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета, Екатеринбург, Россия

#### Information about the author

**Oksana V. Golovashina**, Doct. Sci. (Philosophy), Leading Research Fellow at of the Ural Institute of Humanities at Ural Federal University, Ekaterinburg, Russian Federation

*Статья поступила в редакцию 15.07.2021;  
одобрена после рецензирования 31.08.2021;  
принята к публикации 15.09.2021*

*The article was submitted 15.07.2021;  
approved after reviewing 31.08.2021;  
accepted for publication 15.09.2021*

Научная статья

УДК 172.13:159.9.072 + 323.1(476) + 316.285 + 316.4.057:342.843

doi 10.15826/tetm.2021.2.016

## Моральная проработка коллективной травмы (на материале белорусского\* протеста 2020–2021 гг.)

Елена Валериевна Беляева

*Беларусский государственный университет, Минск, Беларусь*

bksisa@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0726-9542>

**Аннотация.** Статья посвящена осмыслению коллективной травмы белорусского общества, полученной в ходе общественных протестов против фальсификации президентских выборов 2020–2021 гг., и ее моральной проработки, которая происходит вне зависимости от политического развития событий. Моральная проработка травмы направлена на восстановление нравственных ценностей и социальных практик их реализации. К таким ценностям относятся абсолютная ценность человеческой жизни, правдивость, ненасилие, солидарность, бесстрашие, справедливость, доверие. Заранее создаются нарративы и интерпретации, делающие возможными последующие модели примирения, реализующие позитивную ответственность за прошлое, настоящее и будущее своей страны.

**Ключевые слова:** коллективная травма, историческая травма, моральная травма, проработка травмы, протесты в Беларуси — 2020

**Для цитирования:** Беляева Е. В. Моральная проработка коллективной травмы (на материале белорусского протеста 2020–2021 гг.) // *Tempus et Memoria*. 2021. Т. 2, № 2. С. 80–86. <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.016>

Original article

## Moral Elaboration of Collective Trauma (Based on the Belarusian Protest 2020–2021)

Elena V. Belyaeva

*Belarusian State University, Minsk, Belarus*

bksisa@rambler.ru, <https://orcid.org/0000-0002-0726-9542>

**Abstract.** The article is devoted to comprehending the collective trauma of the Belarusian society, received during public protests against the falsification of the presidential elections in 2020–2021, and its moral elaboration, which takes place regardless of the political development of events. Moral study of the trauma is aimed at restoring moral values and social practices of their implementation. These values include: the absolute value of human life, truthfulness, non-violence, solidarity, fearlessness, justice, trust. Narratives and interpretations are created in advance, making possible subsequent models of reconciliation, realizing positive responsibility for the past, present and future of their country.

\* Написание приводится в авторской редакции.

© Беляева Е. В., 2021

**Keywords:** collective trauma, historical trauma, moral trauma, trauma study, protests in Belarus — 2020

**For citation:** Belyaeva, E. V. (2021). Moral'naya prarabotka kollektivnoi travmy (na materiale belarusskogo protesta 2020–2021 gg.) [Moral Elaboration of Collective Trauma (Based on the Belarusian Protest 2020–2021)]. *Tempus et Memoria*, 2, 2, 80–86. (In Russ.). <https://doi.org/10.15826/tetm.2021.2.016>

Проблематика исторической (социальной, коллективной, культурной) травмы весьма актуальна. В современном мире возник чуть ли не «культ травмы», когда каждый народ или сообщество стремятся заявить о своей «травмированности» с целью предъявить претензии обидчикам и получить соответствующую «компенсацию». Кроме того, исторический процесс в целом носит травматический характер, ибо приводит к переменам, разрушающим прежний образ жизни. Об этом говорит П. Штомпка, характеризуя любое социальное изменение как травму [Штомпка]. При этом переживание события как «травмирующего» сильно зависит от интерпретации событий субъектами исторического процесса, которые могут воспринимать нечто как травму или отрицать и не проговаривать ее наличие. Ситуации же, безусловно претендующие на статус травматического события, связаны в основном с насилием, выходящим за границы приемлемого для данного общества.

В 2020 г. в Республике Беларусь начались широкомасштабные протесты против фальсификации президентских выборов, реакцией на которые стало непропорциональное насилие и чрезвычайные репрессии против мирного гражданского населения, против любых форм проявления протеста и институций гражданского общества [Протесты в Беларуси]. Количество напрямую пострадавших в отношении к числу избирателей превысило 0,5 % (в процентном отношении больше, чем в Германии 1933 г. и в СССР 1937 г.). Коллективная травма переживаемого насилия и беззакония охватила не только непосредственных участников протестных действий, их семьи и знакомых, но и тех, кто как будто впервые узнал и ужаснулся природе государственной власти в стране, которую считал своей. Как пишет С. Ушакин, «травмирующим оказывается тщетность попыток сформулировать приемлемые причины этого неожиданного разрыва ткани социальной жизни» [Ушакин, 8]. Реакция на репрессии оказалась сильной по причине

не только их массовости, затронувшей все слои общества, все профессиональные и возрастные группы, но их несправедливости, проистекающей из нарушения законов теми органами, которые призваны их охранять. Понимание травмирующего характера произошедших событий присуще даже провластной стороне, внезапно обнаружившей огромное количество протестующих, ходящих под ненавистными бело-красно-белыми флагами и наделяемых безнравственными качествами. Картина стабильности в «мирной процветающей Беларуси» рухнула, общество получило коллективную травму, концептуализация которой в терминах этики является целью данной статьи.

А. А. Аникин и О. В. Головашина, следуя сложившейся научной традиции, определяют коллективную травму как «комплекс психологических ощущений, возникающий у очевидцев или участников определенного трагического события и являющийся общим, но при этом в полной мере непередаваемым опытом не просто выживания, но и последующего переживания данной ситуации» [Аникин, Головашина, 80]. Между тем хотелось бы расширить это определение и говорить не о психологических ощущениях, а о комплексе переживаний, под которыми понимается «процесс осознания субъектом некоторого явления действительности как события собственной жизни и последующее его отражение в сознании» [Переживание]. Такой процесс не сводится к ощущениям, эмоциям и вообще психологическим состояниям, но состоит в деятельном переживании некоторого опыта в его феноменологической полноте. Кроме того, при анализе коллективной травмы важно учитывать, что именно травмировало в произошедшем. Как отмечает В. Н. Сыров, «причиной может быть не само событие, как оно традиционно понимается (война, к примеру), а его некоторые аспекты или следствия» [Сыров, 70]. В белорусской истории главным таким аспектом оказался моральный.

Коллективная моральная травма, переживаемая белорусским обществом, сопровождается эмоциями возмущения, гнева, отчаяния, но не определяется ими. Эти эмоции могут возникать при любом содержательном наполнении травмы, моральной ее делают страдания от попрания нравственных норм и ценностей. «В условиях белорусского авторитаризма, — пишет Т. В. Щитцова, — препятствием для актуализации и развития демократической политической жизни было в первую очередь морально-этическое непризнание ценности свободы и мнения рядовых граждан, неуважение к позиции Другого и в конечном счете — к лицу, к личности» [Щитцова]. А в период нынешнего политического кризиса к этому прибавилось попрание правды и справедливости, прямое глумление над законом и моралью. Поскольку базовой нравственной реакцией на нарушение нормы является моральное осуждение, именно оно сплотило людей в ходе протестов-2020.

Власть была осуждена морально, в качестве ее пороков были названы лживость, несправедливость, насилие и хамство. Каждому из этих негативных нравственных качеств можно дать определение и поставить ему в соответствие конкретные действия, а контент-анализ высказываний в социальных сетях и журналистике показывает высокую частотность употребления именно этих терминов при характеристике поведения властей. Так белорусский протест-2020–2021 оформился как моральный протест, что обеспечивает его массовость, длительность и сплоченность, несмотря на политические и тактические противоречия в среде протестующих. Поэтому все попытки придать событиям политическую и геополитическую интерпретацию, предпринимаемые властью, расцениваются как подмена повестки. Наставив на моральном дискурсе интерпретации событий, белорусское общество, не дожидаясь разрешения политического кризиса, перешло к проработке своей моральной травмы этическими же средствами, чтобы уже сейчас задать стратегии принятия своего «неудобного прошлого». Как показывает Н. Эппле [Эппле], нужно перейти от «не забудем, не простим» — к «забудем, перевернем страницу» — к «помнить, знать, осудить, простить» — к «принять ответственность за собственное прошлое». Возможно, в этом вопросе желаемое несколько

выдается за действительное, однако наработки интеллектуалов и духовный опыт участников никогда не пропадают зря.

В научной литературе различаются такие способы переживания травмы, как разыгрывание и проработка, которые восходят к работам Ла Капра [La Capra]. Если первый состоит в постоянном возвращении к травмирующей ситуации и консервации ситуации утраты смысла, то проработка предполагает «работу скорби», позволяющую как человеку, так и сообществу перейти в обновленное состояние. Д. Александер указывает на несколько основных форм институализации культурной травмы (среди которых есть религиозная, эстетическая, юридическая, научная, политическая) [Александер, 285–288], но не упоминает среди них моральную. Несмотря на неинституциональность моральной регуляции, ей свойственно производить свой нарратив, и, поскольку моральный дискурс включен в функционирование всех других институтов общества, порождать определенные инструменты институционального регулирования. Поэтому представляется возможным прорабатывать коллективную травму и в моральных категориях, тем более когда сама травма носит по преимуществу моральный характер. Соответственно наряду с психологическим и социологическим направлениями исследования травмы [Аникин] полезен и этический подход к ее осмыслению. Специфика институализации травматического дискурса в моральной сфере заключается в возвращении смысла моральным понятиям, формировании собственного корпуса моральных ценностей, выработке социальных практик и институций для реализации нового морального проекта. Проработка травмы, как отмечает А. Браточкин, «связана именно с переосмыслением ситуации, разрушением стереотипов и созданием “новой” реальности» [Браточкин]. Протестная сторона изначально строила свои рассуждения исходя из логики большинства и перспективы построения будущего общества.

С абстрактно-этической точки зрения моральную травму попрания фундаментальных нравственных ценностей можно залечить только восстановлением значимости этих ценностей в социальной реальности. Однако для этого в первую очередь необходимо признание властью и ее конкретными представителями

самих фактов преступлений против человечности, попрания прав человека, гуманности и справедливости. В публичном пространстве этого не происходит. Однако для того, чтобы такое признание когда-либо стало возможным, свидетельства участников событий целенаправленно собираются с самого начала событий. Доказательства применения пыток представлены в ООН, личные истории пострадавших документируются, ведутся личные блоги, видеоматериалы упорядочиваются и архивируются. В эпоху электронных коммуникаций существует скорее избыток, чем недостаток доказательств. Несмотря на «информационный пузырь», в котором находятся потребители государственных СМИ, не знать о репрессиях нельзя (хотя можно преуменьшать их размах и верить в преступный характер действий протестующих).

Другая составляющая восстановления значимости моральных ценностей — это проработка их смысла. Борьба за содержательное наполнение и интерпретацию этического словаря является неотъемлемой и важнейшей частью протеста. Хотя в провластных речах заявляются такие ценности, как патриотизм, народное единство, порядок, суверенитет, семейные ценности, в них постоянно происходит подмена морального дискурса его имитацией. Главный признак имитации — это не только несоответствие провозглашаемого действительности, но и отсутствие самоорганизующегося субъекта данного дискурса, взамен которого функционирует авторитарный политический субъект, предписывающий ценности другим, но не нуждающийся в них сам. Протестный же моральный дискурс сосредоточен именно на разработке содержания ценностей и производится субъектами для самих себя. В нем патриотизм предполагает приверженность не абстрактной Родине, а демократическому социально-политическому устройству. Народное единство — это не единство вокруг власти (которая, словно в насмешку, объявила 2021 год «годом народного единства»). В реальности народное единство может быть основано на солидарности, достигнутой в социальном взаимодействии. Порядок должен строиться на основе справедливости; и даже семейные ценности состоят в ответственном родительстве и дружбе членов семьи, а не в традиционном абьюзе. Так в протестном моральном

дискурсе даже ценности из провластного списка наполняются собственным смыслом и функционируют благодаря заинтересованным моральным субъектам. Наряду с этим протест выработал собственный комплекс нравственных установок.

Сравнивая социологические данные 2017 и 2020 гг., И. В. Лашук показала, что «произошел серьезный рост значимости общечеловеческой группы ценностей», «устойчивым интегрирующим ядром базовых ценностей белорусского общества являются жизнь человека и порядок. Признание ценности и неприкосновенности человеческой жизни занимает доминирующую позицию в иерархии базовых ценностей белорусов. Высокий уровень поддержки ценности порядка свидетельствует о большой значимости для белорусского общества организации социальных отношений, сформированных на основе соблюдения установленных законов и норм. Однако средства их достижения изменились за счет повышения нравственного выбора, выражающегося в возможности помочь нуждающимся даже в ущерб себе» [Лашук, 90–91]. А среди инструментальных ценностей белорусов появилась жертвенность.

Важнейшей характеристикой белорусского протеста стала вовлеченность в него людей всех социальных групп: всех возрастов, профессий, вероисповеданий, уровней благосостояния и регионов проживания. Объединяют выступающих против власти моральные ценности, ставшие предметом личного морального выбора. Ценность правды, ненасилия, бесстрашия, справедливости, солидарности, доверия были практически опробованы участниками маршей, цепочек солидарности, авторами коллективных видеообращений, петиций, дворовых чаепитий, концертов, лекций и множества других акций. Вся эта деятельность имеет естественную проекцию в сети электронных коммуникаций, позволяя образовать многообразные горизонтальные связи в социуме. В результате общество сумело осознать свою способность взаимодействовать и решать социальные проблемы помимо государства и, несмотря на репрессии, направленные на системное уничтожение всех неподконтрольных государству институций и проявлений активности, продолжает ощущать свою взаимосвязь. Важнейшим способом ее

поддержания и актуализации является солидарность, проявляемая не только в публичном пространстве, но на конкретном межличностном уровне: человек, подвергшийся преследованиям, не остается в социальной изоляции.

Отличительной и последовательно реализуемой нравственной ценностью протеста стало ненасилие. С одной стороны, надо признать, что невооруженное население и не могло оказать серьезного сопротивления профессионально подготовленному ОМОНу, а с другой — порча имущества милиционеров, оскорбления и угрозы в их адрес имели место. Однако в целом многодневные сотысячные марши были мирными, и то, что мирные акции не принесли политических результатов, не заставило ни идеологов, ни участников сменить тактику.

При этом любопытно, что этическая программа протестующих, являясь ненасильственной, не использует напрямую идеи «этики ненасилия» М. Ганди или М. Л. Кинга. Блогер С. Витковский пишет: «Беларусское протестное движение 2020 г. было кантианским по своей сути. Оно признало человека высшей ценностью, неизменным абсолютом, а также подчеркнуло свой мирный характер. Ввиду этого сочетания абсолютности и выбора создается связь с кантианством. В прошлом году беларусское общество было самым заметным коллективным кантианцем в мире» [Витковский]. Удивительным образом беларусский протест опирается на идеи Просвещения: об отдельном человеке как носителе всей полноты человеческих способностей, об обществе как союзе разумных и моральных индивидов, самостоятельно решающих свою судьбу, о политике как деятельности граждан, совершающих моральный выбор. Даже по этим признакам первоначальная классификация беларусских событий как «цветной революции» является неверной. «Цветные революции» рассматриваются как феномен постмодерной культуры, инспирированный политической теорией «управляемого хаоса» с использованием электронных СМИ и социальных сетей. Беларусский же протест имеет признаки скорее метамодерна, представляет собой попытку продемонстрировать миру возможность переустроить общество, сочетая в динамике постмодерные черты экономической и социальной структуры с модерными чертами в морали и культуре.

Важнейший элемент проработки любой коллективной травмы — принятие ответственности за прошлое. Уже сейчас границы ответственности устанавливаются не только для виновников травмы (люстрации, законные справедливые наказания). Активно формируется представление о позитивной ответственности людей, взявших свою судьбу и судьбу страны в свои руки. Такая нравственная установка заранее ориентирует на то, что причину полученной травмы нельзя экстернализовать, видеть ее только в «диктаторе» и его «прикорытниках». Власть перекладывает вину за происходящее исключительно на «враждебные Беларуси силы, не желающие стране добра», проводит политику разделения и демонизирует протестующих, объявляя их «лишними» для страны людьми. Протестный же дискурс включает своих политических противников в будущую картину мира, предполагая возможность восстановления их моральной субъектности в результате избавления от страха и демонстрации образцов нравственного поведения, продумываются стратегии их реинтеграции на основе закона и морали. Уже сейчас возникает тема об ответственности каждого, включенного в исторический процесс. Не только о конкретной вине тех, кто применял непропорциональное насилие и выносил несправедливые приговоры, но именно о том, что возрожденная нация должна будет включить опыт авторитаризма в контекст своих представлений о себе.

При переживании коллективной травмы обычно происходит поиск параллелей между текущими событиями и предыдущими историческими травмами данного общества. В случае Беларуси таким архетипом стали образы Великой Отечественной войны: героической борьбы с оккупантами и страданий народа от карателей. Эти ассоциации говорят не только о природе нынешней трагедии, но и о характере исторической памяти беларусов. В ситуации очередного государственного насилия в первую очередь актуализировались не воспоминания о сталинских репрессиях, а память об оккупационном насилии фашистских захватчиков. Советский террор беларусами также во многом воспринимался как внешний, в особенности в период присоединения Западной Беларуси. Так что в протестной публицистике власть

регулярно характеризуется как оккупационная, а ее силовые органы — как карательные. Кроме того, на определенном этапе переживания трагического характера событий привело к четкому отделению добра от зла, и в сознании христианской нации всплыл образ первых христиан-мучеников, ненасильственно противостоящих безбожной государственной власти.

Между тем наряду с образом жертв, страдания которых нужно помнить, присутствует образ героев, мужественная борьба которых вызывает восхищение и постоянное напоминание всем беларусам о том, что они «невероятные» (мем Марии Колесниковой). В последнем случае подразумевается не только невиданная прежде способность к протесту, не только фантастическая креативность людей протеста в области культурной деятельности, но и особое нравственное качество «настоящего беларуса». Отсюда мемы: «беларусы — котики», «беларус беларусу беларус», «беларусы — хорошие люди». Так новая идентичность беларусов заявляется как нравственная идентичность. Неучастие в акциях протеста, негеополитический выбор, небеларусский язык, неэкономические требования объединяют страну. Нравственность объединяет людей ценностей в противовес людям голой силы. Неоднократно отмечалось, что люди протеста добры, убычивы, радостны, несмотря ни на что.

В результате проработка моральной травмы фундаментальным образом трансформирует идентичность беларусов, но не негативно, а позитивно, она способствует нравственной рефлексии, сознательному созданию корпуса ценностей новой Беларуси. К ним относится идея нации, основанной на демократическом патриотизме как нравственной ценности; законности, основанной на справедливости как нравственной ценности и собственно нравственной идентичности, состоящей в том, что

беларусы — это нравственное сообщество. Как отмечает А. А. Линченко, в рационализации ценностной сферы исторической культуры — залог последующей ее детравматизации [Линченко]. Проработка же исторической травмы в моральных категориях позволяет рационализировать ее не в холодной аналитике рассудка, свойственной философии истории, а в нравственности как «разуме сердца».

Таким образом, действиями государственной власти в 2020–2021 гг. беларусскому обществу была нанесена тяжелейшая моральная травма, состоящая в разрушении фундаментальных нравственных ценностей (правды, справедливости, ненасилия, человеческой жизни), усугубленная отрицанием факта травмы. Произошла безвозвратная утрата уважения к нынешнему типу государства и к тому псевдоморальному дискурсу, который оно транслирует. Беларусское общество, не дожидаясь политического разрешения кризиса, занялось сбором историй очевидцев и участников событий, накапливая свидетельства не только индивидуальной, но и коллективной травмы. Вне зависимости от развития политических событий общество предпринимает попытки моральной проработки этой травмы, направленной на восстановление нравственных ценностей и социальных практик их реализации. К таким ценностям относятся абсолютная ценность человеческой жизни, правдивость, ненасилие, солидарность, бесстрашие, справедливость, доверие. Заранее создаются нарративы и интерпретации, делающие возможными последующие модели примирения. Если представители власти последовательно избегают признания вины за воцарившееся в обществе социальное напряжение, то протестная часть общества мыслит ситуацию в категориях позитивной ответственности за прошлое, настоящее и будущее своей страны.

#### Список источников

Александр Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М. : Праксис, 2013. 640 с.

Аникин Д. А. Травматизация прошлого: методология исследования и основные подходы // *Studia Humanitatis: Международный электрон. науч. журн.* 2018. № 4. URL: <http://st-hum.ru/content/anikin-da-travmatizaciya-proshlogo-metodologiya-issledovaniya-i-osnovnye-podhody> (дата обращения: 24.04.2021).

Аникин Д. А., Головашина О. В. Травмы культурной памяти: концептуальный анализ и методологические основания исследования // *Вестн. Том. гос. ун-та.* 2017. № 425. С. 78–84.

Браточкин А. Культурная травма и медиа // *Гефтер.* URL: <http://gefter.ru/archive/15301> (дата обращения: 11.04.2021).

Витковский С. Facebook. URL: <https://www.facebook.com/DeadChopin> (дата обращения: 11.04.2021).

Лашук И. В. Ценностная трансформация современного белорусского общества (по результатам социологических исследований) // Социология. 2021. № 1. С. 90–99.

Линченко А. А. Историческое сознание и стратегии детравматизации исторической культуры в современном мире // Studia Humanitatis. 2019. № 4. URL: [http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/pdf/linchenko\\_1.pdf](http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/pdf/linchenko_1.pdf) (дата обращения: 02.05.2021).

Переживание // Глоссарий. Психологический словарь. URL: <https://bit.ly/3dQsxoN> (дата обращения: 02.05.2021).

Протесты в Белоруссии (2020–2021) // Википедия. URL: <https://bit.ly/3aGVWQi> (дата обращения: 30.03.2021).

Сыров В. Н. К проблеме изучения травмы: опыт одного анализа // Вестн. Том. гос. ун-та. 2018. № 435. С. 66–74.

Ушакин С. «Нам этой болью дышать?»: О травме, памяти и сообществах // Травма: пункты / под ред. С. Ушакина, Е. Трубиной. М.: НЛО, 2009. С. 5–41.

Штомпка П. Социальные изменения как травма // Социол. исслед. 2001. № 1. С. 6–16.

Щитцова Т. В. Политический антагонизм в Беларуси и условия его преодоления // Наше мнение. URL: [https://nmnby.eu/news/analytics/7349.html?fbclid=IwAR3XES9tr9IW2yr4L65iETEVE2OrCAWEJMVe89S2\\_gR50S\\_hAR6xdinkPUmo](https://nmnby.eu/news/analytics/7349.html?fbclid=IwAR3XES9tr9IW2yr4L65iETEVE2OrCAWEJMVe89S2_gR50S_hAR6xdinkPUmo) (дата обращения: 30.03.2021).

Эппле Н. Неудобное прошлое. Память о государственных преступлениях в России и других странах. М.: Новое лит. обозрение, 2020. 576 с.

La Capra D. History and Its Limits. Human, Animal, Violence. Ithaca and London: Cornell University press, 2009. 248 p.

## References

Aleksander, Dzh. (2013). *Smysly sotsial'noy zhizni: kul'tursotsiologiya* [The meanings of social life: cultural sociology]. М.: Praxis. 640 s.

Anikin, D. A. (2018). *Travmatizatsiya proshlogo: metodologiya issledovaniya i osnovnyye podkhody* [Traumatization of the past: research methodology and basic approaches]. *Studia Humanitatis*, 4. URL: <http://st-hum.ru/content/anikin-da-travmatizatsiya-proshlogo-metodologiya-issledovaniya-i-osnovnyye-podhody> (mode of access: 24.04.2021).

Anikin, D. A., Golovashina, O. V. (2017). *Travmy kul'turnoy pamyati: kontseptual'nyy analiz i metodologicheskiye osnovaniya issledovaniya* [Traumas of cultural memory: conceptual analysis and methodological foundations of the study]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 425, 78–84.

Bratochkin, A. *Kul'turnaya travma i media* [Cultural trauma and media]. *Gefter*. URL: <http://gefter.ru/archive/15301> (mode of access: 11.04.2021).

Epple, N. (2020). *Neudobnoye proshloye. Pamyat' o gosudarstvennykh prestupleniyakh v Rossii i drugikh stranakh* [An Inconvenient Past. Memory of state crimes in Russia and other countries]. М.: Novoye lit. obozreniye. 576 s.

La Capra, D. (2009). *History and Its Limits. Human, Animal, Violence*. Ithaca and London: Cornell University press. 248 p.

Lashuk, I. V. (2021). *Tsennostnaya transformatsiya sovremennogo belorusskogo obshchestva (po rezul'tatam sotsiologicheskikh issledovaniy)* [Value transformation of modern Belarusian society (based on the results of sociological research)]. *Sotsiologiya*, 1, 90–99.

Linchenko, A. A. (2019). *Istoricheskoye soznaniye i strategii detravmatizatsii istoricheskoy kul'tury v sovremennom mire* [Historical consciousness and strategies of detraumatization of historical culture in the modern world]. *Studia Humanitatis*, 4. URL: [http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/pdf/linchenko\\_1.pdf](http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/pdf/linchenko_1.pdf) (mode of access: 02.05.2021).

Perezhivaniye. *Glossariy*. *Psikhologicheskii slovar'*. URL: <https://bit.ly/3dQsxoN> (mode of access: 02.05.2021).

Protesty v Belorussii (2020–2021). *Vikipediya*. URL: <https://bit.ly/3aGVWQi> (mode of access: 30.03.2021).

Shchitsova, T. V. *Politicheskiy antagonizm v Belarusi i usloviya yego preodoleniya* [Political antagonism in Belarus and the conditions for overcoming it]. *Nashe mneniye*. URL: [https://nmnby.eu/news/analytics/7349.html?fbclid=IwAR3XES9tr9IW2yr4L65iETEVE2OrCAWEJMVe89S2\\_gR50S\\_hAR6xdinkPUmo](https://nmnby.eu/news/analytics/7349.html?fbclid=IwAR3XES9tr9IW2yr4L65iETEVE2OrCAWEJMVe89S2_gR50S_hAR6xdinkPUmo) (mode of access: 30.03.2021).

Shtompka, P. (2001). *Sotsial'nyye izmeneniya kak travma* [Social changes as trauma]. *Sotsiologicheskiye issledovaniya*, 1, 6–16.

Syrov, V. N. (2018). *K probleme izucheniya travmy: opyt odnogo analiza* [On the problem of studying trauma: the experience of one analysis]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta*, 435, 66–74.

Ushakin, S. (2009). «Nam etoy bol'yu dyshat'». O travme, pamyati i soobshchestvakh [“Should we breathe this pain?” About trauma, memory and communities]. *Travma: punkty / pod red. S. Ushakina, Ye. Trubinoy*. М.: NLO, 5–41.

Vitkovskiy, S. Facebook. URL: <https://www.facebook.com/DeadChopin> (mode of access: 11.04.2021).

## Сведения об авторе

**Беляева Елена Валериевна** — доктор философских наук, доцент кафедры философии культуры Белорусского государственного университета, г. Минск, Республика Беларусь

## Information about the author

**Elena V. Belyaeva** — Doct. Sci. (Philosophy), Associate Professor Belarusian State University, Minsk, Belarus

Статья поступила в редакцию 15.07.2021;  
одобрена после рецензирования 31.08.2021;  
принята к публикации 15.09.2021

The article was submitted 15.07.2021;  
approved after reviewing 31.08.2021;  
accepted for publication 15.09.2021

*Научное издание*

# TEMPUS ET MEMORIA

2021. Т. 2. № 2

Редактор и корректор  
Компьютерная верстка

*Т. А. Федорова*  
*Л. А. Хухаревой*

Свидетельство о регистрации Эл № ФС77- 79281 от 02 октября 2020 г.  
Учредитель — Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина»  
620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19.

Дата выхода в свет 16.12.2021. Формат 64 × 84 1/8. Гарнитура Charter.  
Уч.-изд. л. 4,55. Объем данных 886 Кб.

Издательство Уральского университета  
620000, Екатеринбург-83, ул. Тургенева, 4.  
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 358-93-22  
Факс +7 (343) 358-93-06  
E-mail: [press-urfu@mail.ru](mailto:press-urfu@mail.ru)  
<http://print.urfu.ru>

Данное электронное сетевое издание размещено в электронном архиве УрФУ:  
<http://elar.urfu.ru>